

Р1
Д70

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОВЕСТИ

И



РАССКАЗЫ

Издательство «Детская литература»



Ф. ДОСТОЕВСКИЙ ПОВЕСТИ И



РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА № 1

Инв. № 211027

ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974

Р1
Д70

Рисунки Ю. Данилова

Д 70 **Достоевский Ф. М.**
Повести и рассказы. Статья и примечания С. Белова. Рис. Ю. Данилова. Л., «Дет. лит.», 1974.

128 с. с ил.

В книгу входят произведения: «Белые ночи», «Слабое сердце», «Ползунки», «Елка и свадьба», «Мальчик у Христа на елке», «Маленький герой».

Р 1

© Издательство «Детская литература», 1974 г. Состав. Иллюстрации.

70608—172
Д Ш101(08)—74 151—74

БЕЛЫЕ НОЧИ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

(Из воспоминаний мечтателя)

... Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего? ..

Ив. Тургенев

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам господь чаще на душу! .. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте, в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии — и люблюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; всё шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золо-

тым набалдашиником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не выдались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прекрасеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький камешный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злоден! варвары! они не пощадил ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я ещё до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи.

Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.

Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) — да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что козь у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел за окно, и всё напрасну. . . несколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутинка еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога. . . потому что ведь всё, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои, тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые как сахар пальчики, и высовывалась головка хорошень-

кой девушки, подымавшей разносчика с горшками цветов, — мне тотчас же, тут же представилось, что эти цветы только так покупаются, то есть вообще не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душевной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с возками в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, шедущая кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользавшие по Неве или Фонтанке, до Черной речки или островов, — воза и лодки удесятерились, усотерялись в глазах моих; казалось, всё поднялось и поехало, всё переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что наконец мне стало стыдно, обидно и грустно: мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!

Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случилось. Точно я вдруг очутился в Италии. — так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.

Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опухнет, разрядится, унесется цветами. . . Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно делается неизъяснимо, чудно прекрасно, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблестать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь. . . Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же

покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. . . И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами, — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени. . .

А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было:

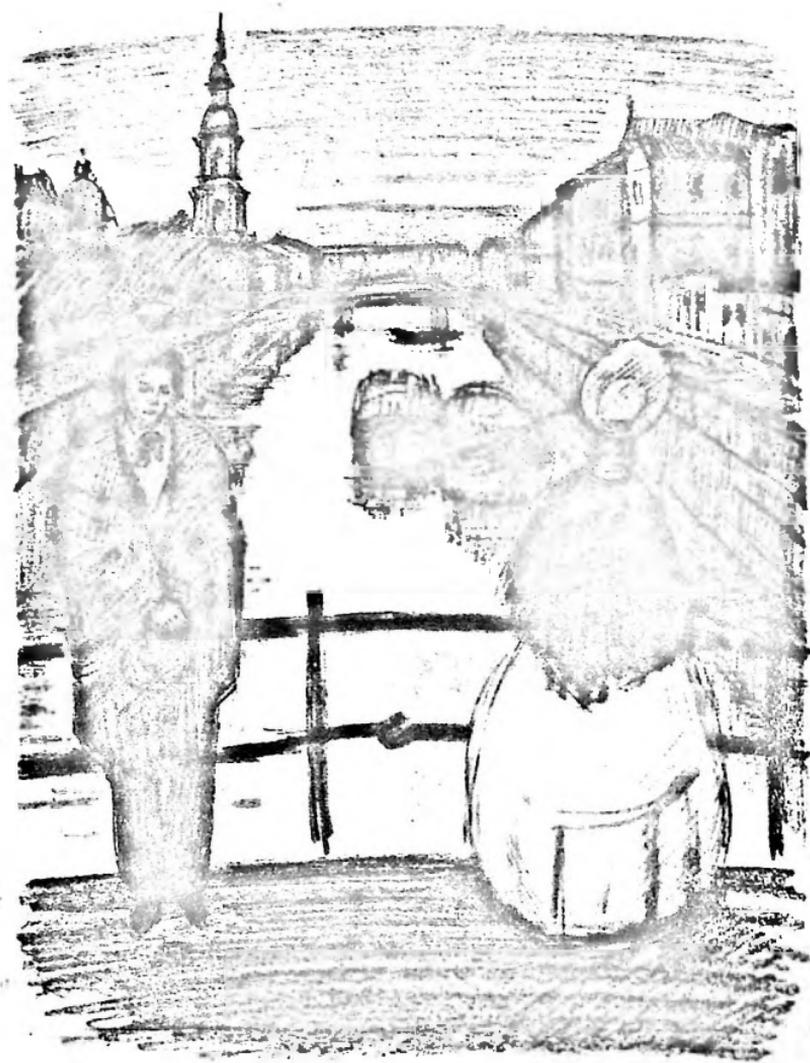
Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я, — верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута! . . . Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз пропраносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я прискинул слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.

По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надумала его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула — и. . . я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незванный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и только, когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.

— Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать.

Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и



испуга. О незваный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал: на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, — не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.

— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось...

— Но я вас не знала: я думала, что вы тоже...

— А разве вы теперь меня знаете?

— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?

— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не меняет. — Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеет дело. Точно, я робок с женщинами, и в волнение, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас... Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.

— Как? неужели?..

— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один... Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив...

— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.

— Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть, и тогда — прошай все мои средства!..

— Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.

— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания...

— Понравиться, что ли?

— Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда всё будет открыто, наружу... Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да всё равно... Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..

— Но как же, в кого же?..

— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это всё такие хозяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и всё, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать

мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, помяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смеетесь... Впрочем, я для того и говорю...

— Не досажайте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше... Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете... Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!

— О, благодарю вас, — закричал я, — вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!

— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую вы считаете достойной... внимания и дружбы... одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?

— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность...

— Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?

— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, шел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать это... у меня стеснилось сердце... О, боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание... Ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..

— Оставьте, довольно, не говорите... — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. — Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас... но вот уже я дома; мне нужно сюда, в переулок; тут два шага... Прощайте, благодарю вас...

— Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?

— Видите ли, — сказала, смеясь, девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу... Может быть, встретимся...

— Я приду сюда завтра, — сказал я. — О, простите меня, я уже требую...

— Да, вы нетерпеливы... вы почти требуете...

— Послушайте, послушайте! — прервал я ее. — Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое... Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы... Почем знать, может быть,

и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья... Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы...

— Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить... Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот... ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону... одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть... чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания... Я бы и назначила, если б... Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор...

— Уговор! говорите, скажите, скажите всё заранее; я на всё согласен, на всё готов, — вскричал я в восторге, — я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен... вы меня знаете...

— Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, — сказала смеясь девушка. — Я вас совершенно знаю. Но, смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, — видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня... Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя... А влюбиться нельзя, прошу вас!

— Клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку...

— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали... У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями... Не правда ли, вы не измените?..

— Увидите... только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.

— Спите крепче; доброй ночи — и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам...

— Ради бога, но в чем? что?

— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет... Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше...

— О, да я вам завтра же всё расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается... Где я, боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почему знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения... Может быть, на меня находят такие минуты... Ну, да я вам завтра всё расскажу, вы всё узнаете, всё...

— Хорошо, принимаю; вы и начнете...

— Согласен.

— До свиданья!

— До свиданья!

И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив... до завтра!

НОЧЬ ВТОРАЯ

— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.

— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!

— Знаю, знаю... но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.

— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случилось со мною ничего умнее, как теперь.

— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.

— Ну, и чем же кончилось?

— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно всё снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами всё рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она смеясь.

— Совершенно без всяких историй! так, жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, — один, один вполне, — понимаете, что такое один?

— Да как один? То есть вы никого никогда не видели?

— О нет, видеть-то вижу, — а все-таки я один.

— Что же, вы разве не говорите пи с кем?

— В строгом смысле, ни с кем.

— Да кто же вы такой, объяснитесь! Постоите, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня да и прищиплила булавкой мое платье к своему — и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай — такой странный обычай, что вот уже два года прищипленная...

— Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки.

— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..

— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?

— Ну, да, да!

— В строгом смысле слова?

— В самом строгом смысле слова!

— Извольте, я — тип.

— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. — Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не

уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?

— Тип? тип — это оригинал, это такой смешной человек! — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. — Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?

— Мечтатель? позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидинь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаяешься — ну, просто за китайского принца выхожу. . . А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать! Нет, впрочем, бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.

— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте. . . Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?

— Наконец-то! вот рано вспомнили!

— Ах, боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо. . .

— Меня зовут — Настенька.

— Настенька! и только?

— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!

— Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!

— То-то же! ну!

— Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.

Я уселся подле нее, принял педаантски-серьезную позу и начал словно по-писаному:

— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на всё иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятм неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло-прозрачного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.

— Фу! господи боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?

— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели. Мечтатель — если нужно его подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большей частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непоколебительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем,

что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стипендии для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом визите, — потому что второго в таком случае уже не будет и приятель другой раз не придет, — отчего сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исподлических, но тщетных усилий разгладить и унестрий разговор, показать и с своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такую покорностию поправится бедному, не туда понавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший мальчик, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во всё время свидания с видом того несчастного котеночка, которого изымали, застрашали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под ступ, в темноту, и там целый час на досуге принужден ошетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, принесенную для него сострадательною ключницей?

— Послушайте, — перебила Настенька, которая всё время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, — послушайте! я совершенно не знаю, отчего всё это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.

— Без сомнения, — отвечал я с самою серьезной миной.

— Ну, коли без сомнения, так продолжайте, — ответила Настенька, — потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.

— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела — я, своей собственной скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переболел и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнул, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?

— Ну да, да! — отвечала Настенька, — в этом и дело. Послушайте:

вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.

— Настенька! — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, — милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с которого наконец сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал. Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно; иначе — я замолчу.

— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.

— Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, которого я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, — потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем что в первом лице всё это ужасно стыдно рассказывать, — итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на всё окружающее. Он доволен, потому что закончил до завтра с досадными для него *делами*, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался... Вы думаете, об еде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившей мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат *своею особенною* жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазия» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни — и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет восвояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал

и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбулся, на него глядя, и обратился к нему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но всё та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой), заткала шаловливо всех и всё в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже всё прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка запыла и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно шечокет и раздражает его фантазия и незаметно слышит целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнице старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его слова настроено, возбуждено, и вдруг олять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон — новое счастье! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд, мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд, мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд всё между нами холодно, угрюмо, точно сердито... «Бедные!» — думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать! да обо всем... об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Дана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс, собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвцов в Роберте (помните музыку? кладбищем пахнет!), Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В — й-Д — й, Дантон, Клеопатра *ei suoi amanti*, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик... Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это

торой с последним страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его. . . О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настает неизреченное счастье, — тут люди приезжают из Павловска!

Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что всё более и более влажнели глаза мои. . . Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила:

— Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?

— Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и, кажется, так и окончу!

— Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно, — этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?

— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удерживая более своего чувства. — И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую большее от такого сознания, потому что сам бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем — олять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!

— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки заблестали на глазах ее, — нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!

— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски. . . Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящею жизнью; потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклинал сам себя; потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре

людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее непохож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящим петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, — а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном напряжении, эта *неистощимая* фантазия, потому что ведь мужаемь, выживаемь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа! И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова всё, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, — потому что эта годовщина справляется всё по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, — и делать это, потому что в этих-то глупых мечтаниях нет, затем что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие всё воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но всё как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с ключкой трясухая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев. . . О, Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть — ничего, ровно ничего. . . потому что всё, что потерял-то, всё это, всё было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!

— Ну, не разжалобивайте меня больше! — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. — Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя; но, право, я вас понимаю, потому что всё, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня припилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, — робко прибавила она, потому что всё еще

чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, — но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?

— Ах, Настенька, — отвечал я, — я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно и каждый друг другу надаст премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не поведу в карман.

— Нет, нет! — перебила Настенька засмеявшись, — мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век своей любви любил меня!

— Идет, Настенька, идет! — закричал я в восторге, — и если б я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!

— Руку вашу! — сказала Настенька.

— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.

— Итак, начнемте мою историю!

История Настеньки

— Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка. . .

— Если другая половина так же недолга, как и эта. . . — перебил было я засмеявшись.

— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно.

Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала — я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и припилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаю лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись — всё подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я всё еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку да и пустилась бежать. . .

Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.

— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь, оттого что смешно. . . Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее

все-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.

Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в мезонин новый жилец...

— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я мимоходом.

— Уж конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что наконец ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец как нарочно был молодой человек, неездный, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» — спрашивает бабушка.

Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказание, наказание! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»

А бабушке всё бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солище-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли — всё в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня недоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.

Вот раз поутру к нам и приходит жилец, спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу припиленная; нет, чтоб тихонько отшпилить, чтобы жилец не видал, — рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец всё теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная да вдруг и заплакала, — так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще... Жилец, как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!

С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только всё был не он, яе приходил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских и что всё хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только всё спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.

— А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?

— А! говорит, описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы и они погибают самым плачевным образом. Я, говорит, бабушка, много таких книжек читала, и всё, говорит, так прекрасно описа-

но, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, говорит, Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, говорит, он книг прислал?

— А всё Вальтера Скотта романы, бабушка.

— Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?

— Нет, говорю, бабушка, нет записки.

— Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет запишают, разбойники!..

— Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.

— Ну то-то же!

Вот мы и начали читать Вальтер-Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина присылал, так что наконец я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.

Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «„Ивангое“ да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.

Через неделю я ему опять попала на лестнице. В этот раз бабушка не послала, а мне самой надо было за чем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!»—говорит. Я ему: «Здравствуйте!»

— А что, говорит, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?

Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.

— Послушайте, говорит, вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?

Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.

— Послушайте, говорит, хотите со мною в театр поехать?

— В театр? как же бабушка-то?

— Да вы, говорит, тихонько от бабушки...

— Нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!

— Ну, прощайте, говорит, а сам ничего не сказал.

Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, — да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; „Севильского цирюльника“ дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».

— «Севильского цирюльника!» — закричала бабушка, — да это тот самый «Цирюльник», которого в старину давали?

— Да, говорит, это тот самый «Цирюльник», — да и взглянул на меня. А я уж всё поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!

— Да как же, говорит бабушка, как не знать. Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!

— Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает же даром.

— Да, пожалуй, поедем, говорит бабушка, отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была.

Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да, кроме того, она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».

Я думала, что после этого он всё будет заходить чаще и чаще, — не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я хотела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь нааоло делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались — всё на той же лестнице, разумеется, — он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я всё еще стою на половине лестницы, красная как вишня, потому что у меня кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь.

Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, обьявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.

Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да наконец и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что всё кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок всё, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и раум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом всё понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.

— Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?

Мы долго говорили, но я наконец пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убогу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — всё разом гово-

рило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!

Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.

— Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! — начал он тоже сквозь слезы, — послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда вернусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но, повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется — в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.

Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообщать бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уже здесь целые три дня и, и...

— И что же? — закричал я в нетерпении услышать конец.

— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, — ни слуху ни духу...

Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.

Я никак не ожидал подобной развязки.

— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым голосом, — Настенька! ради бога, не плачь! Почему вы знаете? может быть, его еще нет...

— Здесь, здесь! — подхватила Настенька. — Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда: когда уже мы сказали всё, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил... Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!

И она снова ударилась в слезы.

— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. — Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?..

— Разве это возможно? — сказала она, вдруг подняв голову.

— Нет, разумеется, нет! — заметил я, спохватившись. — А вот что: напишите письмо.

— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.

— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я, ухватившись за свою идею. — Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и... Ах, Настенька, это так! Верьтесь мне, верьтесь! Я вам не дам дурного совета. Всё это можно устроить! Вы же начали первый шаг — отчего же теперь...

— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь...

— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не скрывая улыбки, — нет же, нет; вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по

всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, — продолжал я, всё более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, — он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться... В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если б захотели развязать его от данного слова...

— Послушайте, вы как бы написали?

— Что?

— Да это письмо.

— Я бы вот как написал: «Милостивый государь...»

— Это так непременно нужно — милостивый государь?

— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю...

— Ну, ну! дальше!

— «Милостивый государь! Извините, что я...» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт всё оправдывает, пишите просто:

«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!

Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосаждаете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».

— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. — О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам бог послал! Благодарю, благодарю вас!

— За что? за то, что меня бог послал? — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.

— Да, хоть за то.

— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!

— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте, у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем что в письме не всегда всё расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бубушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже переешют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять часов.

— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать! Так разве послезавтра всё это будет.

— Письмо... — отвечала Настенька, немного смешавшись, — письмо... по...

Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове!

— R, o — Ro, s, i — si, p, a — па, — начал я.

— Vosina! — запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах.

— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! — сказала она скороговоркой. — Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до завтра!

Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрела, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами.

«До завтра! до завтра!» — пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове, — а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить всё это!

Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастья.

— Коли будет дождь, мы не увидимся! — сказала она. — Я не приду. Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла.

Вчера было наше третье свиданье, наша третья белая ночь... Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным! как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить всё свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб всё было весело, всё смеялось. И как заразительна эта радость! Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце... Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце! О, сколько кокетства от счастья! А я... Я принимал всё за чистую монету; я думал, что она...

Но, боже мой, как же мог я это думать? как же мог я быть так слеп, когда уже всё взято другим, всё не мое; когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь... да, любовь ко мне, — была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье?.. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсилась. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И, странное дело, — она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так робела, так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что я люблю ее, и сжалась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчаст-

ны, мы сильнее чувствуем несчастье других; чувство не разбивается, а сосредоточивается. . .

Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что всё это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.

— Знаете ли, отчего я так рада? — сказала она, — так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?

— Ну? — спросил я, и сердце мое задрожало.

— Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!

Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась.

— Боже! какой вы друг! — начала она через минуту очень серьезно. — Да вас бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его. . .

Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение; однако ж что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей.

— Вы в припадке, — сказал я, — вы трусите; вы думаете, что он не придет.

— Бог с вами! — отвечала она, — если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу; но я подумую после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да! я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувствую всё как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства! . .

В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись: это был не он.

— Чего вы бонетесь? Зачем вы бросили мою руку? — сказала она, подавая мне ее опять. — Ну, что же? мы встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы любим друг друга.

— Как мы любим друг друга! — закричал я.

«О Настенька, Настенька! — подумал я, — как этим словом ты много сказала! От такой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая как огонь. Какая слепая ты, Настенька! . . О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться! . .»

Наконец сердце мое переполнилось.

— Послушайте, Настенька! — закричал я, — знаете ли, что со мной было весь день?

— Ну что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж вы до сих пор всё молчали!

— Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом. . . потом я пришел домой и лег спать.

— Только-то? — перебила она засмеявшись.



— Да, почти только-то, — отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих уже накопились глупые слезы. — Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это всё рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность и словно вся жизнь остановилась для меня. . . Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь. . .

— Ах, боже мой, боже мой! — перебила Настенька, — как же это всё так? Я не понимаю ни слова.

— Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление. . . — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.

— Полноте, перестаньте, полноте! — заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка!

Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом. . . Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.

— Послушайте, — начала она, — а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека! Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам всё говорю, всё говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.

— Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.

— Да, одиннадцать, — сказала она наконец робким, нерешительным голосом.

Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легко обмануть, как ее в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания.

— Да и смешное дело, — начал я, всё более и более горячась и любясь на необыкновенную ясность своих доказательств, — да и не мог он прийти; вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял. . . Вы только подумайте: он едва мог получить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше чем завтра. Я за ним завтра сам свет схожу и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, тысячу вероятностей: ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал? Ведь всё может случиться.

— Да, да! — отвечала Настенька, — я и не подумала; конечно, всё может случиться, — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая, отдаленная мысль. — Вот что вы сделайте, — продолжала она, — вы идите завтра как можно раньше и, если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать.

Вы ведь знаете, где я живу? — И она начала повторять мне свой адрес.

Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною. . . Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отвортила от меня головку. Я заглянул ей в глаза — так и есть: она плакала.

— Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество! . . Полноте!

Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал и грудь всё еще колыхалась.

— Я думаю об вас, — сказала она мне после минутного молчания, — вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого. Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас.

Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь.

— Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности. . . Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?

— Нет, Настенька, нет, — отвечал я, — это значит, что вы его больше всего на свете любите, и гораздо больше себя самой любите.

— Да, положим, что это так, — отвечала наивная Настенька, — но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так, вообще; мне уже давно всё это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их. . .

— Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь это происходит от многих причин, — перебил я, сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства.

— Нет, нет! — отвечала она с глубоким чувством. — Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне кажется, вы вот, например. . . хоть бы теперь. . . мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. — Вы меня простите, если я вам так говорю, я ведь простая девушка; я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить, — прибавила она голосом, дрожащим от какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем улыбнуться, — но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже всё это чувствую. . . О, дай вам бог за это счастья! Вот то, что вы мне рассказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как сами себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам бог счастья с нею! А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю. . .

Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут.

— Да, видно, что он не придет сегодня! — сказала она наконец, подняв голову. — Поздно!..

— Он придет завтра, — сказал я самым уверительным и твердым голосом.

— Да, — прибавила она, развеселившись, — я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до свиданья! до завтра! Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной не было; будьте здесь непременно; я хочу вас видеть, я вам всё расскажу.

И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:

— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?

О! Настенька, Настенька! Если бы ты знала, в каком я теперь одиночестве!

Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь..

Но до завтра, до завтра! Завтра она мне всё расскажет.

Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе..

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Боже, как всё это кончилось! Чем всё это кончилось!

Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слышала, как я подошел к ней.

— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.

Она быстро обернулась ко мне.

— Ну! — сказала она, — ну! поскорее!

Я смотрел на нее в недоумении.

— Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила.

— Нет, у меня нет письма, — сказал я наконец, — разве он еще не был?

Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.

— Ну, бог с ним! — проговорила она наконец прерывающимся голосом, — бог с ним, — если он так оставляет меня.

Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.

— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня сил не достало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?

— Не утешайте меня, — говорила она плача, — не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?..

Тут рыдания пресекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.

— О, как это бесчеловечно-жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой! Боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви... И после этого!.. Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, — да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получил? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне, — я этого не могу понять, — как можно так варварски грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как, как вы думаете?

— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.

— Ну!

— Я спрошу его обо всем, расскажу ему всё.

— Ну, ну!

— Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, и если...

— Нет, мой друг, нет, — перебила она. — Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки — довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по... за... буду...

Она не договорила.

— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, — сказал я, усаживая ее на скамейку.

— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..

Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.

— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за руку, — скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата... что она ничего не сделала!.. О, боже мой, боже мой!..

— Настенька! — закричал я наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение, — Настенька! вы терзаете меня! Вы лжете сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен наконец говорить, высказать, что у меня накопело тут, в сердце...

Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.

— Что с вами? — проговорила она наконец.

— Слушайте! — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, всё вздор, всё несбыточно, всё глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!..

— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально

смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазах, — что с вами?

— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь всё сказано! — сказаал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить...

— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька, — что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне всё казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите... Ах, боже мой, боже мой!

— Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь... я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.

— Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг... Боже! я говорю глупости! Но вы...

И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.

— Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут, Настенька...

— Да сядьте же, сядьте, — сказала она, сажая меня на скамейку, — ох, боже мой!

— Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я всё скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы схоронил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя...

— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, беднейшая.

— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я всё скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну, оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью... что сердце разорвалось, и я, я — не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!..

— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! — сказала Настенька с неизъяснимым движением. — Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но... говорите! я вам после скажу! я вам всё расскажу!

— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротить! Не так ли? Ну, так вы теперь знаете всё. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь всё это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал), я думал, что (ну, уж конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы...

я думал, что вы как-нибудь там... ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда, — я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька, — тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и всё, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего! Послушайте же, друг мой, — потому что вы все-таки мой друг, — я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то всё не про то говорю, это от смущения, Настенька), а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!..

— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, — пойдете, встаньте, пойдете со мной, не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утирая мои слезы своим платком, — ну, пойдете теперь; я вам, может быть, скажу что-нибудь... Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)... но, послушайте, отъезжайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!.. О, боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но... ну, ну, я решилась, я всё скажу...

— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя... я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!

— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?

— Чего ждать, как?

— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почему знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмелся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому что вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама... да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, — потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он...

Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она всё жала мне руку и говорила между рыданиями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать... вы не думайте, чтоб эти слезы, — это так, от слабости, подождите, пока пройдет...» Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще всё просила меня подождать. Мы замолчали... Наконец она собралась с духом и начала говорить...

— Вот что, — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором

вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заняло в нем, — не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить... Я целый год его любила и богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною, — бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостойн меня, — ну, бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, конечно! Но почему знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почему знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и... Ну, оставим, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения, — я вам только хотела сказать... я вам хотела сказать, что если, несмотря на то что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может наконец вытеснить из моего сердца прежнюю... если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарностью... что любовь моя будет наконец достойна вашей любви... Возьмете ли вы теперь мою руку?

— Настенька, — закричал я, аадыхаясь от рыданий, — Настенька!.. О Настенька!..

— Ну довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! — говорила она, едва пересиливая себя, — ну, теперь уже всё сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня... Говорите о чем-нибудь другом, ради бога!..

— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов...

И мы не анали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети...

— Я теперь живу один, Настенька, — заговорил я, — а завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего...

— Разумеется, нет, а у бабушки пенсия; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.

— Конечно, нужно взять бабушку... Только вот Матрена...

— Ах, да и у нас тоже Фекла!

— Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!..

— Всё равно; они обе могут быть вместе; только вы завтра к нам пересяжайте.

— Как это? к вам! Хорошо, я готов...

— Да, вы наймите у нас. У нас там, наверху, мезонин; он пустой;

жилица была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того...

— Ах, Настенька!..

И оба мы засмеялись.

— Ну, полно же, полноте. А где же вы живете? я и забыла.

— Там, у — ского моста, в дома Баранникова.

— Это такой большой дом?

— Да, такой большой дом.

— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и пере-ежайте к нам поскорее...

— Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего... Я получу скоро жалованье...

— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки...

— Ну вот и прекрасно... а я скоро награждение получу, Настенька...

— Так вот вы завтра и будете мой жилец...

— Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.

— Да, поедем, — сказала смеясь Настенька, — нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое...

— Ну хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал...

Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набегит на глаза; я орбею, похолодею... Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить...

— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, — сказала наконец Настенька, — полно нам так ребячиться!

— Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.

— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня...

— Непременно!

— Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.

— Непременно, непременно...

— Честное слово?... потому что ведь нужно же когда-нибудь вернуться домой!

— Честное слово, — отвечал я смеясь...

— Ну, пойдемте!

— Пойдемте.

— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако теперь застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!..

Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча, как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука

ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее... Она оперлась на меня еще сильнее.

В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало...

— Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька?

— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне... Я едва устоял на ногах.

— Настенька! Настенька! это ты! — послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов.

Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!... Я стоял и смотрел на них как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.

Я долго стоял и глядел им вслед... Наконец оба они исчезли из глаз моих.

УТРО

Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мой стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам.

— Письмо тебе, батюшка, по городской почте, почтарь принес, — проговорила надо мною Матрена.

— Письмо! от кого? — закричал я, вскакивая со стула.

— Я не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого.

Я сломал печать. Это от нее!

«О, простите, простите меня! — писала мне Настенька, — на коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак... Я изныла за вас сегодня; простите, простите меня!..»

Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О боже! если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»

«О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова. Настенька!

«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала! Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете — коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите!»

Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она напечаталась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки.

Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим. . . И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку. . . да? вы подадите мне ее, вы простите меня, не правда ли? Вы меня любите *по-прежнему?*

О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее. . . друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне. . . Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не правда ли? . .

Простите же, помните и любите вашу

Настеньку.

Я долго перечитывал это письмо; слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.

— Касатик! а касатик! — начала Матрена.

— Что, старуха?

— А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору. . .

Я посмотрел на Матрену. . . Это была еще бодрая, *молодая* старуха, но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая. . . Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, всё потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие. . .

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и всё опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая несколько не поумнела за все эти годы.

Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю. . . О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую? . .

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

ПОВЕСТЬ

Под одной кровлей, в одной квартире, в одном четвертом этаже жили два молодые сослуживца, Аркадий Иванович Нефедевич и Вася Шумков. . . Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем, хоть бы, например, для того только, чтоб не сочли такой способ выражения неприличным и отчасти фамильярным. Но для этого было бы необходимо предвзвешенно объяснить и описать и чин, и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц; а так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предлагаемой повести, единственно для того чтоб не походить на них (то есть, как скажут, может быть, некоторые, вследствие неограниченного своего самолюбия), решаете начать прямо с действия. Кончив такое предисловие, он начинает.

Вечером, накануне Нового года, часу в шестом, Шумков воротился домой. Аркадий Иванович, который лежал на кровати, проснулся и вполглаза посмотрел на своего приятеля. Он увидал, что тот был в своей превосходнейшей партикулярной паре и в чистойшей манишке. Это, разумеется, его поразило. «Куда бы ходить таким образом Васе? да и не обедал он дома!» Шумков между тем зажег свечку, и Аркадий Иванович немедленно догадался, что приятель собирается разбудить его нечаянным образом. Действительно, Вася два раза кашлянул, два раза прошелся по комнате и, наконец, совершенно нечаянно выпустил из рук трубку, которую было стал набивать в уголку, воле печки. Аркадия Ивановича взял смех про себя.

- Вася, полно хитрить! — сказал он.
- Аркаша, не спишь?
- Право, наверно не могу сказать; кажется мне, что не сплю.
- Ах, Аркаша! здравствуй, голубчик! Ну, брат! ну, брат!.. Ты не знаешь, что я скажу тебе!
- Решительно не знаю; подойди-ка сюда.

Вася, как будто ждал того, немедленно подошел, никак не ожидая, впрочем, коварства от Аркадия Ивановича. Тот как-то преловко схватил его за руки, повернул, подвернул под себя и начал, как говорится, «ду-

шить» жертвочку, что, казалось, доставляло невероятное удовольствие веселому Аркадию Ивановичу.

— Попался! — закричал он, — попался!

— Аркаша, Аркаша, что ты делаешь? Пусти, ради бога, пусти, я фрак замараю!..

— Нужды нет; зачем тебе фрак? зачем ты такой легковерный, что сам в руки даешься? Говори, куда ты ходил, где обедал?

— Аркаша, ради бога, пусти!

— Где обедал?

— Да про это-то я и хочу рассказать.

— Так рассказывай.

— Да ты прежде пусти.

— Так вот нет же, не пущу, пока не расскажешь!

— Аркаша, Аркаша! да понимаешь ли ты, что ведь нельзя, никак невозможно! — кричал слабосильный Вася, выбиваясь из крепких лап своего неприятеля, — ведь есть такие материи!..

— Какие материи?..

— Да такие, что вот о которых начнешь рассказывать в таком положении, так теряешь достоинство; никак нельзя; выйдет смешно — а тут дело совсем не смешное, а важное.

— И ну его, к важному! вот еще выдумал! Ты мне рассказывай так, чтоб я смеяться хотел, вот как рассказывай; а важного я не хочу; а то какой же ты будешь приятель? вот ты мне скажи, какой же ты будешь приятель? а?

— Аркаша, ей-богу, нельзя!

— И слышать не хочу!..

— Ну, Аркаша! — начал Вася, лежа поперек кровати и стараясь всеми силами придать как можно более важности словам своим. — Аркаша! я, пожалуй, скажу; только!..

— Ну что!..

— Ну, я помолвил жениться!

Аркадий Иванович, не говоря более праздного слова, взял молча Васю на руки, как ребенка, несмотря на то что Вася был не совсем коротенький, но довольно длинный, только худой, и преловко начал его носить из угла в угол по комнате, показывая вид, что его убаюкивает.

— А вот я тебя, жених, спеленаю, — приговаривал он. Но, увидя, что Вася лежит на его руках, не шелохнется и не говорит более ни слова, тотчас одумался и взял в соображение, что шутки, видно, далеко зашли; он поставил его среди комнаты и самым искренним, дружеским образом обლობызал его в щеку.

— Вася, не сердись?..

— Аркаша, послушай!..

— Ну, для Нового года.

— Да я-то ничего; да зачем же ты сам такой сумасшедший, повеса такой? Сколько я раз тебе говорил: Аркаша, ей-богу, не остро, совсем не остро!

— Ну, да не сердись?

— Да я ничего; на кого я сержусь когда! Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты!

— Да как огорчил? каким образом?

— Я шел к тебе как к другу, с полным сердцем, излить перед тобой свою душу, рассказать тебе мое счастье!..

— Да какое же счастье? что ж ты не говоришь?..

— Ну, да я женюсь-то! — отвечал с досадою Вася, потому что действительно немного был взбешен.

— Ты! ты женишься! так и вправду? — закричал благим матом Аркаша. — Нет, нет... да что ж это? и говорит так, и слезы текут!.. Вася, Васюк ты мой, сыночек мой, полно! Да вправду, что ль? — И Аркадий Иванович бросился к нему снова с объятиями.

— Ну, понимаешь, из-за чего теперь вышло? — сказал Вася. — Ведь ты добрый, ты друг, я это знаю. Я иду к тебе с такою радостью, с восторгом душевным, и вдруг всю радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть, барахтаясь поперек кровати, теряя достоинство... Ты понимаешь, Аркаша, — продолжал Вася полусмеясь, — ведь это было в комическом виде: ну, а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту. Я же не мог унижать этого дела... Вот еще б ты спросил меня: как зовут? Вот кланюсь, скорей убил бы меня, а я бы тебе не ответил.

— Да, Вася, что же ты молчал! да ты бы мне всё раньше сказал, я бы и не стал шалить, — закричал Аркадий Иванович в истинном отчаянии.

— Ну, полно же, полно! я ведь так это... Ведь ты знаешь, отчего это всё, — оттого, что у меня доброе сердце. Вот мне и досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принести удовольствие, рассказать хорошо, прилично посвятить тебя... Право, Аркаша, я тебя так люблю, что, не будь тебя, я бы, мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете совсем!

Аркадий Иванович, который необыкновенно был чувствителен, и смеялся, и плакал, слушая Васю. Вася тоже. Оба снова бросились в объятия и позабыли о бывшем.

— Как же, как же это? Расскажи мне всё, Вася! Я, брат, извини меня, я поражен, совсем поражен; вот точно громом сразило, ей-богу! Да нет же, брат, нет, ты выдумал, ей-богу, выдумал, ты наврал! — закричал Аркадий Иванович и даже с неподдельным сомнением взглянул в лицо Васи, но, видя в нем блестящее подтверждение неопровержимого намерения жениться как можно скорее, бросился в постель и начал кувыряться в ней от восторга, так что стены дрожали.

— Вася, садись сюда! — закричал он, усевшись наконец на кровати.

— Уж я, братец, право, не знаю, как и начать, с чего!

Оба в радостном волнении смотрели друг на друга.

— Кто она, Вася?

— Артемьевы!.. — проианес Вася расслабленным от счастья голосом.

— Нет?

— Ну, да я тебе уши прожужжал об них, потом замолк, а ты ничего и не приметил. Ах, Аркаша, чего стоило мне скрывать от тебя; да боялся, боялся говорить! Думал, что всё расстроится, а я ведь влюблен, Аркаша! Боже мой, боже мой! Видишь ли, вот какая история. — начал он, беспрепятственно останавливаясь от волнения, — у ней был жених, еще год назад, да вдруг его командировали куда-то; я и знал его — такой, право, бог с ним! Ну, вот он и не пишет совсем, запал. Ждут, ждут; что бы это значило?.. Вдруг он, четыре месяца назад, приезжает женатый и к ним ни ногой. Грубо! подло! да за них заступиться некому. Плакала, плакала она, бедная, а я и влюбись в нее... да я и давно, всегда был влюблен! Вот стал утешать, ходил, ходил... ну, и я, право, не знаю, как это всё произошло, только и она меня полюбила; неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал

ей всё — ну! что люблю ее — одним словом, всё!.. «Я вас сама любить готова, Василий Петрович, да я бедная девушка, не насмейтесь надо мной; я и любить-то никого не смею». Ну, брат, понимаешь! понимаешь?.. Мы тут с ней на слове и помолвились; я думал-думал, думал-думал; говорю: как сказать маменьке? Она говорит: трудно, подождите немножко; она боится; теперь еще, пожалуй, не отдаст меня вам; сама плачет. Я, ей не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизанька перед ней на колени, я тоже... ну, и благословила. Аркаша, Аркаша! голубчик ты мой! будем жить вместе. Нет! я с тобой ни за что не расстанусь.

— Вася, как я ни смотрю на тебя, а не верю, ей-богу, как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне всё что-то кажется... Послушай, как же это ты женишься?.. Как же я не знал, а? Право, Вася, я, уже признаюсь тебе, я сам, брат, думал жениться; а уж как теперь ты женишься, так уж всё равно! Ну, будь счастлив, будь счастлив!..

— Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе... — сказал Вася, вставая и шагая в волнении по комнате. — Не правда ли, не правда ли? ведь ты чувствуешь то же? Мы будем жить бедно, конечно, но счастливы будем; и ведь это не химера; наше счастье-то ведь не из книжки сказано: ведь это на деле счастливы мы будем!..

— Вася, Вася, послушай!

— Что? — сказал Вася, остановясь перед Аркадием Ивановичем.

— Мне пришла мысль; право, я как-то боюсь и сказать тебе!.. Ты прости меня, ты разреши мои сомнения. Чем же ты жить будешь? Я, знаешь, я в восторге, что ты женишься, конечно, в восторге и владеть собой не могу, но — чем ты жить будешь? а?

— Ах, боже, боже мой! какой ты, Аркаша! — сказал Вася, в глубоком удивлении смотря на Нефедевича. — Да что ты в самом деле? Даже старуха, и та двух минут не подумала, когда я ей представил всё ясно. Ты спроси, чем они жили? Ведь пятьсот рублей в год на троих: ведь всего-то пенсиону после покойника столько. Жила она, да старуха, да еще братишка, за которого в школу платят из тех же денег, — ведь вот как живут! Ведь это только мы капиталисты с тобой! А у меня, поди-ка ты, в иной год, в хороший, даже семьсот наберется.

— Послушай, Вася; ты меня извини; я, ей-богу, я так ведь, я всё только думаю, как бы это не расстроить, — каких же семьсот? только триста...

— Триста!.. А Юлиан Мастакович? забыл?

— Юлиан Мастакович! да ведь это дело, братец, неверное; это не то, что триста рублей верного жалованья, где всякий рубль как друг неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну, даже великий он человек, я его уважаю, понимаю его, даром что он так высоко стоит, и, ей-богу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за работу дарит, тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника — но ведь согласись сам, Вася... Послушай еще: я ведь не вздор говорю; я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк, я готов тебе уступить, — не без восторга заключил Нефедевич, — но вдруг, боже сохрани! ты не понравившись, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет — ну да, наконец, мало ли что может случиться! Ведь Юлиан-то Мастакович был да сплыл, Вася...

— Послушай, Аркаша, ведь этак, пожалуй, над нами сейчас потолок провалится...

— Ну, конечно, конечно... я ведь ничего...

— Нет, послушай меня, ты выслушай — видишь что: каким он образом может со мною расстаться... Нет, ты только выслушай, выслушай. Ведь я всё исполнял рачительно; ведь он такой добрый, ведь он мне, Аркаша, ведь он мне сегодня дал пятьдесят рублей серебром!

— Неужели, Вася? так тебе награждение?

— Какое награждение! из своего кармана. Говорит: уж ты, брат, пятый месяц денег не получал; хочешь, возьми; спасибо, говорит, тебе, спасибо, доволен... ей-богу! не даром же ты мне, говорит, работаешь — право! так и сказал. У меня слезы полились, Аркаша. Господи боже!

— Послушай, Вася, а ты дописал те бумаги?..

— Нет... еще не дописал.

— Ва... сенька! ангел мой! что ты сделал?

— Послушай, Аркадий, ничего, еще два дня сроку, успею...

— Как же ты это так не писал?..

— Ну вот, ну вот! ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся внутренность ворочается, сердце болит! Ну, что ж? ты меня всегда этак убиваешь! Так и закричит: а-а-а!!! Да ты рассуждай; ну, что ж такое? ну, кончу, ей-богу, кончу...

— Что если не кончишь? — закричал Аркадий, вскочив. — А он же тебе сегодня дал награждение! Ты же тут женишься... Ай-ай-ай!..

— Ничего, ничего, — закричал Шумков, — я сейчас же и сажусь, сию минуту сажусь; ничего!

— Как это ты манкировал, Васютка?

— Ах, Аркаша! ну, мог ли я усидеть? такой ли я был? Да я в канцелярии-то едва сидел; ведь я сердца сносить не мог... Ах, ах! теперь ночь просижу, и завтра ночь просижу, да послезавтра еще, и — докончу!..

— Много осталось?

— Не мешай, ради бога, не мешай, замолчи...

Аркадий Иванович на цыпочках подошел к кровати и уселся; потом вдруг хотел было встать, но потом опять принужден был сесть, вспомнив, что помешать может, хотя и сидеть не мог от волнения: видно было, что его совсем перевернуло известие и первый восторг еще не успел выкипеть в нем. Он взглянул на Шумкова, тот взглянул на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмутив брови (как будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы), уставился глазами в бумаги.

Казалось, и он тоже еще не пересилил своего волнения, переменил перья, вертелся на стуле, пристроивался, опять принимался писать, но рука его дрожала и отказывалась двигаться.

— Аркаша! Я им говорил об тебе, — закричал он вдруг, как будто только что вспомнил.

— Да? — закричал Аркадий, — а я только спросить хотел; ну!

— Ну! ах да, я тебе после всё расскажу! Вот, ей-богу, сам виноват, а совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, покамест не напишу четырех листов; да вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу: всё об вас вспоминаю... — Вася улыбнулся.

Настало молчание.

— Фу! какое скверное перо! — закричал Шумков, ударив в досаде им по столу. Он взялся за другое.

— Вася! послушай! одно слово...

— Ну! поскорей и в последний раз.

— Много тебе осталось?

— Ах, брат!.. — Вася так поморщился, как будто ничего в свете

не было ужаснее и убийственнее такого вопроса. — Много, ужасно много!

— Знаешь, у меня была идея...

— Что?

— Да нет, уж нет, пиши.

— Ну, что? что?

— Теперь седьмой час, Васюк!

Тут Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе, но, однако ж, все-таки несколько с робостью, не зная, как примет он это.

— Ну, что ж? — сказал Вася, бросив совсем писать, смотря ему прямо в глаза и даже поблднев от ожидания.

— Знаешь что?

— Ради бога, что?

— Знаешь что? Ты взволнован, ты много не поработаешь... Постой, постой, постой, постой — вижу, вижу — слушай! — заговорил Нефедевич, вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражения. — Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться, так ли?

— Аркаша! Аркаша! — закричал Вася, вскочив с кресел. — Я просижу всю ночь, ей-богу, просижу!

— Ну, да, да! Ты к утру только заснешь...

— Не засну, ни за что не засну...

— Нет, нельзя, нельзя; конечно, заснешь, в пять часов засни. В восемь я тебя бужу. Завтра праздник: ты сядишь и строчишь целый день... Потом ночь и — да много ль осталось тебе?..

— Да вот, вот!..

Вася, дрожа от восторга и от ожидания, показал тетрадку.

— Вот!..

— Послушай, брат, ведь это немного...

Дорогой мой, еще там есть, — сказал Вася, робко-робко смотря на Нефедевича, как будто от него зависело разрешение, идти или нет.

— Сколько?

— Два... листочка...

— Ну, что ж? ну, послушай! Ведь кончить успеем, ей-богу, успеем!

— Аркаша!

— Вася! послушай! Теперь под Новый год все по семействам собираются, мы с тобой только бездомные, сырые... у! Васенька!..

Нефедевич облапил Васю и стиснул в своих львиных объятиях...

— Аркадий, решено!

— Васюк, я только об этом сказать хотел. Видишь, Васюк, косолапый ты мой! слушай! слушай! ведь...

Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог говорить от восторга. Вася держал его за плечи, глядел ему во все глаза и так двигал губами, как будто сам хотел договорить за него.

— Ну! — проговорил он наконец.

— Представь им сегодня меня!

— Аркадий! идем туда чай пить! Знаешь что? знаешь что? даже до Нового года не досидим, раньше уйдем, — закричал Вася в истинном вдохновенье.

— То есть два часа, ни больше ни меньше!..

— И потом разлука до тех пор, пока не докончу!..

— Васюк!..

— Аркадий!

В три минуты Аркадий был по-парадному. Вася только почистился, затем что и не снимал своей пары: с таким рвением присел он за дело.

Они поспешно вышли на улицу, один радостнее другого. Путь лежал с Петербургской стороны в Коломну. Аркадий Иванович отмеривал шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость о благополучии всё более и более счастливого Васи. Вася семенял более мелким шажком, но не теряя достоинства. Напротив, Аркадий Иванович еще никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его, и известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор еще не знает читатель (Вася был немного кривобок), вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича, теперь еще более способствовал к глубокому умилению, которое особенно питал к нему друг его в эту минуту и которого Вася, уж разумеется, всячески был достоин. Аркадий Ивановичу даже хотелось заплакать от счастья; но он удержался.

— Куда, куда, Вася? здесь ближе пройдем! — вскричал он, видя, что Вася норовит повернуть к Вознесенскому.

— Молчи, Аркаша, молчи...

— Право, ближе, Вася.

— Аркаша! Знаешь ли что? — начал Вася таинственно, замрающим от радости голосом. — Знаешь ли что? Мне хочется принести подарочек Лизаньке...

— Что ж такое?

— Здесь, брат, на углу мадам Леру, чудесный магазин!

— А, ну!

— Чепчик, душечка, чепчик; сегодня я видел такой чепчоночек миленький; я спрашиваю: фасон, говорят, Maup Le scaut называется — чудо! ленты серизовые, и если недорого... Аркаша, да хоть бы и дорого!..

— Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася! идем!..

Они побежали и через две минуты вошли в магазин. Их встретила черноглазая француженка в локонах, которая тотчас же, при первом взгляде на своих покупателей, сделалась так же весела и счастлива, как они сами, даже счастливее, если можно сказать. Вася готов был расцеловать мадам Леру от восторга...

— Аркаша! — сказал он вполголоса, бросив обыкновенный взгляд на всё прекрасное и великое, стоявшее на деревянных столбиках на огромном столе магазина. — Чудеса! Что это такое? что это? Вот этот, например, бонбончик, видишь? — прошептал Вася, показывая один миленький крайний чепчик, но вовсе не тот, который купить хотел, потому что уже издалека наглядываясь и впился глазами в другой, знаменитый, настоящий, стоявший на противоположном конце. Он так смотрел на него, что можно было подумать, будто его кто-нибудь возьмет да украдет или будто сам чепчик, именно для того чтоб не доставаться Васе, улетит с своего места на воздух.

— Вот, — сказал Аркадий Иванович, указав на один, — вот, по-моему, лучший.

— Ну, Аркаша! это даже делает честь тебе; я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкус, — сказал Вася, плутовски схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей, — прелесть твой чепчик, но поди-ка сюда!

— Где же, брат, лучше?

— Смотри-ка сюда!

— Этот? — сказал Аркадий с сомнением.

Но когда Вася, не в силах более выдерживать, сорвал его с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания, когда захрустели все его лепточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Ивановича. Даже мадам Леру, наблюдавшая всё свое несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во всё время выбора и только молчавшая из снисхождения, наградила Васю полную улыбкою одобрения, так что всё в ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке, разом проговорило — да! вы угадали и достойны счастья, которое вас ожидает.

— Ведь кокетничал, кокетничал в уединении! — закричал Вася, перенеся всю любовь свою на миленький чепчик. — Нарочно прятался, плутишка, голубчик мой! — И он поцеловал его, то есть воздух, который его окружал, потому что боялся дотронуться до своей драгоценности.

— Так скрывает себя истинная заслуга и добродетель. — прибавил Аркадий в восторге, для юмора прибрав фразу из одной остроумной газеты, которую читал поутру. — Ну, Вася, что же?

— Виват, Аркаша! да ты и остришь сегодня, ты сделаешь *фурор*, как они говорят, между женщинами, предрекаю тебе. Мадам Леру, мадам Леру!..

— Что прикажете?

— Голубушка, мадам Леру!..

Мадам Леру взглянула на Аркадия Ивановича и снисходительно улыбнулась.

— Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту... Позвольте поцеловать вас... — и Вася поцеловал магазинщицу.

Решительно, нужно было призвать на минуту всё достоинство, чтоб не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому и всю врожденную, неподдельную любезность и грацию, с которою мадам Леру приняла восторг Васи. Она извинила его, и как умно, как грациозно умела она найтись в этом случае! Неужели же можно было рассердиться на Васю?

— Мадам Леру, сколько цена?

— Это пять рублей серебром, — отвечала она, оправившись, с новой улыбкою.

— А этот, мадам Леру, — сказал Аркадий Иванович, указав на свой выбор.

— Этот восемь рублей серебром.

— Ну, позвольте! ну, позвольте! ну, согласитесь, мадам Леру, ну, который лучше, грациознее, милее, который из них более подходит на вас?

— Тот богаче, но ваш выбор — *c'est plus coquet*.

— Ну, так его и берем!

Мадам Леру взяла лист тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавочкой, и, казалось, бумага с завернутым чепчиком сделалась легче, нежели прежде, без чепчика. Вася взял всё это бережно, чуть дыша, раскланялся с мадам Леру, что-то еще сказал ей очень любезное и вышел из магазина.

— Я вивёр, Аркаша, я рожден быть вивёром! — кричал Вася, хохоча, заливаясь неслышным, мелким, нервическим смехом и обегая прохожих, которых всех разом подозревал в непременно покушении измять его драгоценнейший чепчик!

— Послушай. Аркадий, послушай! — начал он минуту спустя, и что-то торжественно, что-то донельзя любящее зазвенело в настрое его голоса. — Аркадий, я так счастлив, так счастлив! . . .

— Васенька! как я-то счастлив, голубчик мой!

— Нет, Аркаша, нет, твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю; но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Моё сердце так полно, так полно! Аркаша! Я недостойн этого счастья! Я слышу, я чувствую это. За что мне, — говорил он голосом, полным заглушенных рыданий, — что я сделал такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я меня люблю такая девушка, меня. . . но ты сам ее увидишь сейчас, сам оценишь это благородное сердце. Я родился из низкого звания, теперь чин у меня и независимый доход — жалованье. Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного. Смотри, она меня полюбила, как я есть. Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый; он со мною редко говорит; подошел: «Ну, что Вася (ей-богу, так-таки Васей и назвал), кутить пойдешь на праздниках, а?» (Сам смеется.)

«Так и так, говорю, ваше превосходительство, дело есть, да тут же ободрился и говорю: — и повеселюсь, может быть, ваше превосходительство», — ей-богу, сказал. Он мне тут денег дал, потом еще сказал мне два слова. Я, брат, заплакал, ей-богу, слезы прошибли, а он тоже, кажется, тронут был, потрепал меня по плечу да говорит: «Чувствуй, Вася, чувствуй всегда так, как теперь это чувствуешь. . .»

Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже отер кулаком слезинку.

— И еще, еще. . . продолжал Вася. — Я никогда еще не говорил тебе этого, Аркадий. . . Аркадий! Ты так счастливишь меня дружбой своею, без тебя я бы не жил на свете, — нет, нет, не говори ничего, Аркаша! Дай мне пожать тебе руку, дай по. . . благо. . . дар. . . лить тебя! . . . — Вася опять не закончил.

Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею, но так как они переходили улицу и почти над ушами их раздалось визгливое «надь-падь-пади!» — то оба, испуганные и взволнованные, добежали бегом до тротуара. Аркадий Иванович был даже рад тому. Он извинил излишние благодарности Васи разве только исключительною настоящею минутой. Самому же ему было досадно. Он чувствовал, что он до сих пор так мало сделал для Васи! Ему даже стыдно стало за себя, когда Вася начал благодарить его за такую малость! Но еще целая жизнь была впереди, и Аркадий Иванович вздохнул свободнее. . .

Решительно, их совсем перестали ждать! Доказательство — что уж сидели за чаем! А право, иногда стар-человек прозорливее молодежи, да еще какой молодежи! Ведь Лизанька-то пресерьезно уверяла, что не будет; «не будет, маменька; уж сердце чувствует, что не будет»; а маменька всё говорила, что се сердце, напротив, чувствует, что непременно будет, что не усидит, что прибежит, что и занятый-то служебных теперь нет у него, что и под Новый-то год! Лизанька, и отворяя, не ждала совсем — глазам не верила, и встретила их запыхавшись, с забывшимся внезапно сердечком, как у пойманной пташки, вся заалев, зарумянившись, словно вишенка на которую она ужасно как походила. Боже мой, какой сюрприз! какое радостное «ах!» вылетело из ее губок! «Обманщик! Голубчик ты мой!» — вскричала она, обвинив шею Васи. . . Но представьте всё удивление ее, весь ее стыд

внезапный: прямо за Васей, как будто желая спрятаться сзади его, стоял, немного потерявшись, Аркадий Иванович. Нужно признаться, что он был неловок с женщинами, даже очень неловок, даже однажды случилось, что... Но это потом. Однако ж войдите в его положение: смешного тут нет ничего; он стоит в передней, в калошах, в шинели, в ушатой шапке, которую поспешно было сдернуть, весь пребезобразно обмотанный желтым вязаным прескверным шарфом, еще для большего эффекта завязанным сзади. Всё это нужно распутать, снять поскорее, представиться в более выгодном виде, потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде. А тут Вася, досадный, неспособный, хотя, впрочем, конечно, тот же милый, добрейший Вася, но, наконец, несносный, безжалостный Вася! «Вот, — кричит он, — Лизанька, вот тебе мой Аркадий! Каков? Вот мой лучший друг, обними его, поцелуй его, Лизанька, наперед поцелуй, узнаешь потом лучше, сама расцелуешь...» Ну что? ну что, я спрашиваю, было делать Аркадию Ивановичу? А он еще размотал всего половину шарфа! Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи; она, конечно, означает доброе сердце, но... неловко, нехорошо!

Наконец оба вошли. Старушка была несказанно рада познакомиться с Аркадием Ивановичем; она так много слышала, она... Но она не докончила. Радостное «ах!», звонко раздавшееся в комнате, остановило ее на полфразе. Боже мой! Лизанька стояла перед развернутым неожиданно чепчиком, пренаивно сложив свои ручки и улыбаясь, улыбаясь так... Боже мой, да зачем это у madame Леру не было еще лучшего чепчика!

Ах, боже мой, да где ж вы найдете чепчик лучше? Это уж из рук вон! Где же вы сыщете лучше? Я говорю серьезно! Меня, наконец, даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблагодарность влюбленных. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амурчика-чепчика! Ну, взгляните... Но нет, нет, мои пени напрасны; они уже согласились все со мною; это было минутное заблуждение, туман, горячка чувства; я готов им простить... Да зато посмотрите... вы уж извините, господа, я всё об этом чепчике: тюлевый, легонький, широкая сериловая лента, покрытая кружевом, идет между тюлею и рюшем и сзади две ленты, широкие, длинные; они будут падать немного ниже затылка, на шею... Нужно только и весь чепчик немного надеть на затылок; ну, посмотрите; ну, я вас спрошу после этого!... Да вы, я вижу, не смотрите!... Вам, кажется, всё равно! Вы загляделись в другую сторону... Вы смотрите, как две крупные-крупные, словно перлы, слезинки накипели в один миг в черных как смоль глазках, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тень, из которого состояло художественное произведение madame Леру... И опять мне досадно: ведь почти не за чепчик были эти две слезинки!... Нет! по-моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить ее! Я, признаюсь, господа, всё за чепчик!

Уселись — Вася с Лизанькой, а старушка с Аркадием Ивановичем; начали разговор, и Аркадий Иванович вполне поддержал себя. Я с радостью отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов об Васе он превосходно успел заговорить об Юлиане Мастакевиче, его благодетеле. Да так умно, так умно заговорил, что разговор, право, не истощился и в час. Нужно было видеть, с каким умением, с каким тактом касался Аркадий Иванович некоторых особенностей Юлиана Мастакевича, имевших прямое или косвенное отношение к Васе. Зато и ста-

рушка была очарована, истинно очарована: она сама призналась в этом, она нарочно отозвала Васю в сторону и там сказала ему, что друг его превосходящий, любезнейший молодой человек и, главное, такой серьезный, солидный молодой человек. Вася чуть не захохотал от блаженства. Он вспомнил, как солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели! Потом старушка мигнула Васе и сказала, чтоб он вышел за нею тихонько и осторожнее в другую комнату. Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно Лизаньки: она, конечно от избытка сердца, изменила ей и вдумала показать потихоньку подарок, который готовила Лизанька Васе к Новому году. Это был бумажник, шитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком: на одной стороне изображен был олень, совершенно как натуральный, который чрезвычайно шибко бежал, и так похоже, так хорошо! На другой стороне был портрет одного известного генерала, тоже превосходно и весьма похоже отделанный. Я уж не говорю о восторге Васи. Между тем и в зале не прошло даром время. Лизанька прямо подошла к Аркадию Ивановичу. Она взяла его за руки, она за что-то благодарила его, и Аркадий Иванович догадался наконец, что дело идет о том же драгоценнейшем Васе. Лизанька даже была глубоко растрогана: она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг ее жениха, так любил его, так наблюдал за ним, напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что, право, она, Лизанька, не может не благодарить его, не может удержаться от благодарности, что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович полюбит и ее хоть вполнину так, как любит Васю. Потом она стала расспрашивать, бережет ли Вася свое здоровье, изъявила некоторые опасения насчет особенной пылкости его характера, насчет несовершенного знания людей и практической жизни, сказала, что она религиозно будет со временем наблюдать за ним, хранить и лелеять судью его и что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе.

— Мы будем втроем как один человек! — вскричала она в пренаивном восторге.

Но нужно было идти. Разумеется, стали удерживать, но Вася объявил наотрез, что нельзя. Аркадий Иванович засвидетельствовал то же самое. Спросили, разумеется, почему, и немедленно открылось, что было дело, вверенное Юлианом Мастаковичем Васе, спешное, нужное, ужасное, которое нужно представить послезавтра утром, а что оно не только не кончено, но даже запущено совершенно. Маменька ахнула, как услышала об этом, а Лизанька просто испугалась, встревожилась и даже погнала Васю. Последний поцелуй вовсе не проиграл от этого; он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче. Наконец расстались, и оба друга пустились домой.

Немедленно оба взапуски начали верить друг другу свои впечатления, только что очутились на улице. Да тому так и следовало быть: Аркадий Иванович был влюблен, насмерть влюблен в Лизаньку! И кому ж это лучше поверить, как не самому счастливчику Васе? Он так и сделал: он не посовестился и тотчас же признался Васе во всем. Вася ужасно смеялся и страшно был рад, даже заметил, что это вовсе не лишнее и что теперь они будут еще больше друзьями. «Ты угадал меня, Вася, — сказал Аркадий Иванович, — да! я люблю ее так, как тебя; это будет и мой ангел, так же как твой, затем что и на меня ваше счастье прольется, и меня пригрет оно. Это будет и моя хозяйка, Вася; в ее руках будет счастье мое; пусть хозяйничает как с тобою, так и со мной. Да, дружба к тебе, дружба к ней; вы у меня нераздельны теперь; только у меня будут два такие существа,

как ты, вместо одного. . .» Аркадий замолчал от избытка чувств; а Вася был потрясен до глубины души его словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. Аркадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать тоже совсем не любил; теперь же тотчас пустился и в мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные! «Как я буду хранить вас обоих, делаять вас, — заговорил он опять. — Во-первых, я, Вася, буду у тебя всех детей крестить, всех до единого, а во-вторых, Вася, надобно хлопотать и о будущем. Нужно мебель купить, нужно квартиру нанять, так чтоб и ей, и тебе, и мне были каморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. Три. . . нет, две комнаты, нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил, денег достанет; чего! я как взглянул в се глазки, так тотчас расчел, что достанет. Всё для нее! Ух, как будем работать! Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей двадцать пять за квартиру. Квартира, брат, всё! Хорошие комнаты. . . да тут и человек весел и мечтания радужные! А во-вторых, Лизанька будет наш общий кассир: ни копейки лишней! Чтоб этак я теперь в трактир побегал! да за кого ты меня принимаешь? ни за что! А тут прибавка, награды будут, потому что мы будем прилежно служить, у! как работать, как волю землю пахать! . . Ну, представь себе, — и голос Аркадия Ивановича ослабел от удовольствия, — вдруг этак совсем неожиданно целковых тридцать иль двадцать пять на голову! . . Ведь что ни награда, то чепчик, то шарфик, чулочки какие-нибудь! Она мне непременно должна связать шарф; смотри, какой скверный у меня: желтый, поганый, наделал он мне сегодня беды! Да и ты, Вася, хорош: представляешь, а я в хомуте стою. . . да не в том вовсе дело! А вот, видишь ли: я всё серебро беру на себя! я вам ведь обязан сделать подарочек — это честь, это мое самолюбие! . . А ведь наградные мои не уйдут: Скороходову, что ли, их отдадут? небось не залежатся они у этой цапли в кармане. Я, брат, вам куплю ложек серебряных, ножей хороших — не серебряных ножей, а отличных ножей, и жилетку, то есть жилетку-то себе: я ведь шафером буду! Только уж ты теперь держись у меня, уж держись, уж я над тобой, брат, и сегодня, и завтра, и всю ночь буду с палкой стоять, замучаю на работе: кончай! кончай, брат, скорее! и потом опять на вечер, и потом оба счастливы: в лото пустимся! . . вечера сидеть будем — у, хорошо! фу, черт! как досадно, что не могу тебе помогать. Так бы взял и всё бы, всё бы писал за тебя. . . Зачем это у нас не одинаковый почерк?»

— Да! — ответил Вася. — Да! нужно спешить. Я думаю, теперь часов одиннадцать будет; нужно спешить. . . За работу! — И, поговорив это, Вася, который всё время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием изливание дружеских чувств и, одним словом, оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. Казалось, какая-то тяжкая идея вдруг оледенила его пылавшую голову; казалось, всё сердце его сжалось.

Аркадий Иванович даже стал беспокоиться; на ускоренные вопросы свои он почти не получал ответов от Васи, который отделялся словцом-другим, иногда восклицанием, часто вовсе не относившимся к делу. «Да что с тобой, Вася? — закричал он наконец, едва догнавши его. — Неужели ты так беспокоишься? . .» «Ах, брат, полно болтать!» — ответил Вася даже с досадою. «Не унывай, Вася, полно, — прервал Аркадий, — да я видывал, что ты и гораздо больше в меньший срок писывал. . . чего тебе! у тебя просто талант! В крайнем случае можно даже ускорить перо: ведь не литогра-

фировать же на прописи будут. Успеешь!.. вот разве только ты взволнован теперь. рассеян. так работа тяжелее пойдет...» Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге добежали домой.

Вася тотчас же сел за бумаги. Аркадий Иванович присмирел и притих, втихомолку разделся и лег на кровать, не спуская глаз с Васи... Какой-то страх нашел на него... «Что с ним? — сказал он про себя, смотря на побледневшее лицо Васи, на разгоревшиеся глаза его, на беспокойство, выказавшееся в каждом движении. — У него и рука дрожит... фу ты, право! да не посоветовать ли ему заснуть часа два; хоть бы он переспал свое раздражение». Вася только что окончил страницу, поднял глаза, нечаянно взглянул на Аркадия и, тотчас же потупившись, схватился опять за перо.

— Послушай, Вася, — начал вдруг Аркадий Иванович, — не лучше ли было бы тебе переспать немножко? Смотри, ты совсем в лихорадке... Вася с досадой, даже со злостью взглянул на Аркадия и не отвечал.

— Послушай, Вася, что ты над собой делаешь?..

Вася тотчас одумался.

— Не выпить ли чайку, Аркаша? — сказал он.

— Как так? зачем?

— Силы придаст. Я спать не хочу, уж я спать не буду! Я всё буду писать. А теперь и отдохнул бы за чаем, да и мгновение тяжелое перешло бы.

— Лихо, брат Вася, чудесно! именно так; я сам хотел предложить. Но я дивлюсь, как мне самому не пришло в голову. Только знаешь ли что? Мавра не встанет, ни за что не проснется...

— Да...

— Вздор, ничего! — закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. — Я сам самовар поставлю. Впервой, что ли, мне?..

Аркадий Иванович побежал в кухню и пустился хлопотать с самоваром; Вася покамест писал. Аркадий Иванович оделся и сбежал сверх того в булочную, затем чтоб Вася мог вполне подкрепить себя на ночь. Через четверть часа самовар стоял на столе. Они начали пить, но разговор не клеился. Вася всё был рассеян.

— Вот, — сказал он наконец, как будто одумавшись, — нужно завтра пойти поздравлять...

— Тебе вовсе не нужно.

— Нет, брат, нельзя, — сказал Вася.

— Да я за тебя у всех распишусь... чего тебе! ты завтра работай. Сегодня бы ты посидел часов до пяти, как я говорил, а там и заснул бы. А то на что ты завтра будешь похож? Я бы тебя ровно в восемь часов разбудил...

— Да хорошо ли это будет, что ты за меня распишешься? — сказал Вася, полусоглашаясь.

— Да чего же лучше? так делают все!..

— Право, боюсь...

— Да чего же, чего?

— Оно, знаешь, у других ничего, а Юлиан Мастакович — он, Аркаша, мой благодетель; ну, как заметит, что чужая рука...

— Заметит! Ну, какой ты, право, Васюк! ну, как он может заметить?.. Да ведь я, знаешь, твое имя ужасно как похоже подписываю и завиток такой же делаю, ей-богу. Полно; что ты! кому тут заметить?..

Вася не отвечал и поспешно допивал свой стакан. . . Потом он сомнительно покачал головою.

— Вася, голубчик! ах, кабы нам удалось! Вася, да что с тобой? Ты меня просто пугашь! Значишь, я теперь и не лягу, Вася, не засну. Покажи мне, много ль осталось тебе?

Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце повернулось и язык осекся.

— Вася! что с тобой? что ты? чего ты так смотришь?

— Аркадий, я, право, пойду завтра поздравить Юлиана Мастаковича.

— Ну, ступай, пожалуйста! — говорил Аркадий, смотря на него во все глаза в томительном ожидании.

— Послушай, Вася, ускорь перо; я зла тебе не советую, ей-богу же так! Сколько раз говорил сам Юлиан Мастакович, что у тебя в перо ему всего более нравится четкость! Ведь это Скоронлехин только любит, чтоб было четко и красиво, как пропись, чтоб потом как-нибудь зажилить бумажку да детям домой нести переносывать: не может кунить, болван, прописей! А Юлиан Мастакович только и говорит, только и требует: четко, четко и четко! . . . чего же тебе! право! Вася, я уж не знаю, как и говорить с тобой. . . Я боюсь даже. . . Ты меня убиваешь тоской своей.

— Ничего, ничего! — говорил Вася и в изнеможении упал на стул. Аркадий встревожился.

— Не хочешь ли воды? Вася! Вася!

— Полно, полно, — сказал Вася, сжимая его руку. — Я ничего; мне только стало как-то грустно, Аркадий. Я даже и сам не могу сказать отчего. Послушай, говори лучше о другом; не паномнай мне. . .

— Успокойся, ради бога, успокойся, Вася. Ты закончишь, ей-богу, закончишь! А хоть бы и не закончил, так что ж за беда? Точно преступление какое!

— Аркадий, — сказал Вася, так значительно смотря на своего друга, что тот решительно испугался, ибо никогда Вася не тревожился так ужасно. — Если б я был один, как прежде. . . Нет! я не то говорю. Мне всё хочется тебе сказать, поверить, как другу. . . Впрочем, зачем же беспокоить тебя? . . . Видишь, Аркадий, одним дано многое, другие делают маленькое, как я. Ну, если б от тебя потребовали благодарности, признательности — и ты бы не мог этого сделать? . . .

— Вася! я решительно не понимаю тебя!

— Я никогда не был неблагодарен, — продолжал Вася тихо, как будто рассуждая сам с собою. — Но если я не в состоянии высказать всего, что чувствую, то оно как будто бы. . . Оно, Аркадий, выйдет, как будто я и в самом деле неблагодарен, а это меня убивает.

— Да что ж, да что! Неужели же в том вся благодарность, что ты перепишешь к сроку? Подумай, Вася, что ты говоришь! разве в этом выражается благодарность?

Вася вдруг замолчал и посмотрел во все глаза на Аркадия, как будто его неожиданный аргумент разрушил все сомнения. Он даже улыбнулся, но тотчас же принял опять прежнее задумчивое выражение. Аркадий, приняв эту улыбку за окончание всех страхов, а тревогу, опять явившуюся, за решимость на что-нибудь лучшее, крайне обрадовался.

— Ну, брат Аркаша, проснешься, — сказал Вася, — взгляни на меня; неравно я засну, беда будет; а теперь я сажусь за работу. . . Аркаша?

— Что?

— Нет, я так только, я ничего. . . я хотел. . .

Вася уселся и замолчал, Аркадий улегся. Ни тот, ни другой не сказали двух слов о коломенских. Может быть, оба чувствовали, что провинились немощно, покутили некстати. Вскоре Аркадий Иванович заснул, всё тоскуя об Васе. К удивлению своему, он проснулся ровно в восьмом часу утра. Вася спал на стуле, держа в руке перо, бледный и утомленный; свечка сгорела. В кухне возилась Мавра за самоваром.

— Вася. Вася! — закричал Аркадий в испуге... — Когда ты лег?

Вася открыл глаза и вскочил со стула...

— Ах! — сказал он. — Я так и заснул!...

Он тотчас же бросился к бумагам — ничего: всё было в порядке; ни чернилами, ни салом от свечки не капнуло.

— Я думаю, я заснул часов в шесть, — сказал Вася. — Как ночью холодно! Выьем-ка чаю, и я опять...

— Подкрепился ли ты?

— Да-да, ничего, теперь ничего!...

— С Новым годом, брат Вася.

— Здравствуй, брат, здравствуй; тебя также, милый.

Они обнялись. У Васи дрожал подбородок и повлажнели глаза. Аркадий Иванович молчал: ему стало горько; оба пили чай наскоро...

— Аркадий! Я решил, я сам пойду к Юлиану Мастаковичу...

— Да ведь он не заметит...

— Да меня-то, брат, почти мучит совесть.

— Да ведь ты для него же сидишь, для него же убиваешься... полно!

А я, знаешь что, брат, я зайду туда...

— Куда? — спросил Вася.

— К Артемьевым, поздравлю с моей и с твоей стороны.

— Голубчик мой, миленький! Ну! я здесь останусь; да, я вижу, что ты хорошо придумал; ведь я же тут работаю, не в праздности время провою! Постой на минутку, я тотчас письмо напишу.

— Пиши, брат, пиши, успеешь; я еще умоюсь, побреюсь, фрак почищу. Ну, брат Вася, мы будем довольны и счастливы! Обними меня, Вася!

— Ах, кабы, брат!...

— Здесь живет господин чиновник Шумков? — раздался детский голосок на лестнице...

— Здесь, батюшка, здесь, — проговорила Мавра, впуская гостя.

— Что там? что, что? — закричал Вася, вспрыгнув со стула и бросааясь в переднюю. — Петенька, ты?...

— Здравствуйте, с Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович, — сказал хорошенький черноволосый мальчик лет десяти, в курдюшках, — сестрица вам кланяется, и маменька тоже, а сестрица велела вас поцеловать от себя...

Вася вскинул на воздух посланника и впел в его губки, которые ужасно походили на Лизанькины, медовый, длинный, восторженный поцелуй.

— Целуй, Аркадий! — говорил он, передав ему Петю, и Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощные и жадные в полном смысле слова объятия Аркадия Ивановича.

— Голубчик ты мой, хочешь чайку?

— Покорно благодарю-с. Уж мы пили! Сегодня поднялись рано. Наши к обедне ушли. Сестрица два часа меня зашивала, напомадила, умыла, панталончики мне зашила, потому что я их разодрал вчера с Сашкой на улице: мы в снежки стали играть...

— Ну-ну-ну-ну!

— Ну, всё меня паряжала к вам идти; потом напонадила, а потом зацеловала совсем, говорит: «Сходи к Васе, поздравь да спроси, довольны ли они, покойно ли почивали и еще... и еще что-то спросить — да! и еще, конечно ль дело, об котором вы вчера... там как-то... да вот, у меня записано, — сказал мальчик, читая по бумажке, которую вынул из кармана, — да! беспокоились».

— Будет конечно! будет! так ей и скажи, что будет, непременно кончу, честное слово!

— Да еще... ах! я и забыл; сестрица записочку и подарок прислала, а я и забыл!..

— Боже мой!.. Ах ты, голубчик мой! где... где? вот — а?! Смотри, брат, что мне пишет. Го-лу-бушка, миленькая! Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня; он не кончен, так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри!

И потрясенный от восторга Вася показывал локон густейших, чернейших в свете волос Аркадию Ивановичу; потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман, поближе к сердцу.

— Вася! Я тебе медальон закажу для этих волос! — решительно сказал наконец Аркадий Иванович.

— А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги; маменька хочет бисквиты готовить... а пшенной каши не будет, — сказала мальчик, подумав, как заключить свои рассказы.

— Фу, какой хорошенький мальчик! — закричал Аркадий Иванович. — Вася, ты счастливейший смертный!

Мальчик кончил чай, получил записочку, тысячу поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему.

— Ну, брат, — заговорил обрадованный Аркадий Иванович, — видишь, как хорошо, видишь! Всё уладилось к лучшему, не горюй, не робей! вперед! Кончай, Вася, кончай! В два часа я домой; заеду к ним, потом к Юлиану Мастаковичу...

— Ну, прощай, брат, прощай!.. Ах, кабы!.. Ну, хорошо, ступай, хорошо, — сказал Вася, — я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мастаковичу.

— Прощай!

— Стой, брат, стой; скажи им... ну, всё, что найдешь; ее поцелуй... да расскажи, братец, всё потом расскажи...

— Ну уж, ну уж — известно, знаем что! Это счастье перевернуло тебя! Это неожиданность; ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, конечно! оправься, голубчик Вася! Прощай, прощай!

Наконец друзья растались. Всё утро Аркадий Иванович был рассеян и думал только об Васе. Он знал слабый, раздражительный характер его. «Да, это счастье перевернуло его, я не ошибся! — говорил он сам про себя. — Боже мой! Он и на меня нагнал тоску. И из чего этот человек способен поднять трагедию! Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти! нужно спасти!» — проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже возвел до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в одиннадцать часов понаел он в швейцарскую Юлиана Мастаковича, чтоб примкнуть свое скромное имя к длинному столбцу почтительных лиц, расписавшихся в швейцарской на листе заканавной и кругом исчерченной бумаги. Но каково было его удивление,

когда перед ним мелькнула собственная подпись Васи Шумкова! Это его поразило. «Что с ним делается?» — подумал он. Аркадий Иванович, взгравшись еще недавно надеждой, вышел расстроенный. Действительно, готовилась беда: но где? но какая?

В Коломну он приехал с мрачными мыслями, был рассеян сначала, но, поговорив с Лизанькой, вышел со слезами на глазах, потому что решительно испугался за Васю. Домой он пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым. Тот тоже бежал.

— Куда ты? — закричал Аркадий Иванович.

Вася остановился, как пойманный в преступлении.

— Я, брат, так; я прогуляться хотел.

— Не утерпел, в Коломну шел? Ах, Вася, Вася! Ну, зачем ты ходил к Юлиану Мастаковичу?

Вася не отвечал; но потом махнул рукой и сказал:

— Аркадий! я не знаю, что со мной делается! я...

— Полно, Вася, полно! ведь я знаю, что это такое. Успокойся! ты взволнован и потрясен со вчерашнего дня! Подумай: ну, как не сместь этого! Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят, работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непременно кончишь, я знаю: ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то...

— Нет, ничего, ничего...

— Помнишь, Вася, помнишь, ведь это было с тобой; помнишь, когда ты чин получил, ты от счастья и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и теперь то же самое...

— Да, да, Аркадий; но теперь другое, теперь совсем не то...

— Да как не то, помилуй! И дело-то, может быть, вовсе не спешное, а ты себя убиваешь...

— Ничего, ничего, я только так. Ну, пойдем!

— Что ж ты домой, а не к ним?

— Нет, брат, с каким я лицом явлюсь?.. Я раздумал. Я только один без тебя не высидел; а вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдем!

Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил.

— Что ж ты меня не расспрашиваешь об них? — сказал Аркадий Иванович.

— Ах, да! Ну, Аркашенька, что ж?

— Вася, ты на себя непохож!

— Ну, ничего, ничего. Расскажи же мне всё, Аркаша! — сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяснений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терпелся, смотря на Васю.

Рассказ о коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича, и приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтоб просидеть всю ночь. Он действительно лег. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в восемь часов. Три часа разлуки прошли для него как три года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что всё темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что всё писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом, час тому назад, убежал, сказав, что через полчаса будет; «а когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, — заключила Мавра, — что гулять я пошел, и три, не то, мол, четыре раза наказывал».

«У Артемьевых он!» — подумал Аркадий Иванович и покачал головой. Через минуту он вскочил, оживленный надеждой. Он просто кончил, подумал он; вот и всё; не утерпел да и убежал туда. Впрочем, нет! Он меня бы дождался... Взгляну-ка я, что там у него!

Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи: работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася...

— А, ты здесь? — закричал он, вздрогнув от испуга.

Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось...

— Вася, брат мой, что с тобой? что ты? — закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. — Объяснись со мной; я не понимаю тебя и тоски твоей; что с тобой, мученик ты мой? что? Скажи мне всё без утайки. Не может быть, чтоб это одно...

Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило.

— Полно, Вася, полно! Ну, не кончить тебе, что ж такое? Я не понимаю тебя; открой мне мучения свои. Видишь ли, я для тебя... Ах, боже мой, боже мой! — говорил он, шагая по комнате и хватаясь за всё, что ни попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для Васи. — Я сам завтра, вместо тебя, пойду к Юлиану Мस्ताковичу, буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему всё, всё, если только это так тебя мучает...

— Боже тебя сохрани! — вскричал Вася и побелел как стена. Он едва устоял на месте.

— Вася, Вася!...

Вася очнулся. Губы его дрожали; он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия... Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза.

— Вася! бог с тобой, Вася! Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый ты мой.

Слезы градом хлынули из глаз Васи; он бросился на грудь Аркадия.

— Я обманул тебя, Аркадий! — говорил он. — Я обманул тебя; прости меня, прости! Я обманул твою дружбу...

— Что, что, Вася? что ж такое? — спросил Аркадий решительно в ужасе.

— Вот!...

И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика шесть толстейших тетрадей, подобных той, которую он переписывал.

— Что это?

— Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и четвертой доли не сделал! Не спрашивай, не спрашивай... как это сделалось! — продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. — Аркадий, друг мой! Я не знаю сам, что было со мной! Я как будто из какого-то сна выхожу. Я целые три недели потерял даром. Я всё... я... ходил к ней... У меня сердце болело, я мучился... неизвестностью... я и не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся.

— Васи! — начал Аркадий Иванович решительно. — Васи! я спасу

тебя. Я понимаю всё это. Это дело не шутка. Я спасу тебя! Слушай, слушай меня: я завтра же иду к Юлиану Мастаковичу. . . Не качай головой, нет, слушай! Я расскажу ему всё, как было; позволь мне сделать так. . . Я объясню ему. . . я на всё пойду! Я расскажу ему, как ты убил, как ты мучишься.

— Знаешь ли, что ты уж теперь убиваешь меня? — проговорил Вася, весь похолодев от испуга.

Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся.

— Только-то? только это? — сказал он. — Помилуй, Вася, помилуй! не стыдно ли? Ну, послушай! Я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу! Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж и Лизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно! Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! Тебе хочется, например, чтоб Юлиан Мастакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься. . . Ну, постой, постой! Ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мастаковича! Я осталась его. Я ведь и сам его уважаю не меньше твоего! Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься. . . Да, брат, ты уж согласишься, что тебе бы хотелось, чтоб у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой! милый мой! я не смею, это так; ты уж давно мне всё почти такое же в разных видах представлял. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым! Потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь! Ну, я и понимаю, как ты готов себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое рвение, уменье. . . ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, ты вдруг манкировал! Тебе ужасно горько при мысли, что Юлиан Мастакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, — и в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность. . . Ведь так, не правда ли? Ведь так?

Аркадий Иванович, у которого дрожал голос оканчивая, замолчал и перевел дух.

Вася смотрел с любовью на своего друга. Улыбка скользила по губам его.

Даже как будто ожидание надежды оживило лицо его.

— Ну, так слушай же, — начал снова Аркадий, еще более вдохновенный надеждою, — так и не нужно, чтоб Юлиан Мастакович изменил к тебе свою благосклонность. Так ли, голубчик мой? в этом вопрос? А коль в этом, так я же, — сказал Аркадий, вскочив с места, — я же пожертвую собой для тебя. Я завтра еду к Юлиану Мастаковичу. . . И не противоречь мне! Ты, Вася, свой проступок до преступления возводишь. А он, Юлиан Мастакович, великодушен и милосерд, да к тому же не таков,

как ты! Он, брат Вася, нас с тобой выслушает и из беды вывезет. Ну! спокоен ли ты?

Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия.

— Полно, Аркадий, полно, — сказал он, — дело решенное. Ну, я не кончил, ну, и хорошо; не кончил, так не кончил. И тебе ходить не нужно: я сам всё расскажу, сам пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоен; только ты не ходи... Да послушай.

— Вася, дорогой ты мой! — вскричал в радости Аркадий Иванович. — Я по твоим словам говорил; я рад, что ты одумался и оправился. Но что бы с тобой ни было, что бы ни случилось, я при тебе, это помни! Я вижу, тебя терзает то, чтоб я не говорил ничего Юлиану Мастаковичу, — и не скажу, ничего не скажу, ты сам скажешь. Видишь ли: ты завтра пойдешь... или нет, ты не пойдешь, ты здесь будешь писать, понимаешь? а я там узнаю, какое это дело, очень ли спешное или нет, нужно ли его к сроку или нет, и если просрочишь, так что может выйти из этого? Потом я к тебе прибегу... Видишь, видишь! уж есть надежда; ну, представь же, что дело не спешное — ведь выиграть можно. Юлиан Мастакович может не запомнить, и тогда всё спасено.

Вася сомнительно покачал головою. Но благодарный взор его не сходил с лица друга.

— Ну, полно, полно! Я так слаб, так устал, — говорил он задыхаясь, — мне и самому об этом думать не хочется. Ну, поговорим о другом! Я, видишь ли, и писать, пожалуй, не буду теперь, а только так, две странички только окончу, чтоб дойти хоть до какой-нибудь точки. Послушай... я давно хотел спросить тебя: как это ты так хорошо меня знаешь?

Слезы капали из глаз Васи на руки Аркадия.

— Если б ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого, — да!

— Да, да, Аркадий, я не знаю этого, потому... потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил! Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твои любовь меня убивала? Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе (потому что и всегда думаю об тебе, когда засыпаю), я обливался слезами, и сердце мое дрожало оттого, оттого... Ну, оттого, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог...

— Видишь, Вася, видишь, какой ты!.. Смотри, как ты расстроен теперь, — говорил Аркадий, у которого душа изныла в эту минуту и который вспомнил про вчерашнюю сцену на улице.

— Полно; ты хочешь, чтоб я успокоился, а я никогда еще не был так спокоен и счастлив! Знаешь ли... Послушай, мне бы хотелось тебе всё рассказать, да я всё боюсь тебя огорчить... Ты всё огорчаешься и кричишь на меня; а я пугаюсь... смотри, как я дрожу теперь, я не знаю отчего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде, — да! да и других тоже вчера только узнал. Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне. Сердце... во мне было черство... Слушай, как это случилось, что никому-то, никому я не сделал добра не свете, потому что сделать не мог, — даже и видом-то я неприятен... А всякий-то мне делал добро! Вот ты первый: разве я не вижу. Я только молчал, только молчал!

— Вася, полно!

— Что ж, Аркаша! Что ж!.. Я ведь ничего... — прервал Вася, едва

выговаривая слова от слез. — Я тебе говорил вчера про Юлиана Мастаковича. И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой, даже ты несколько раз на замечанье к нему попадал, а со мной он вчера шутить вздумал, ласкать и доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне...

— Ну, что же, Вася? Это только показывает, что ты достоин своего счастья.

— Ах, Аркаша! Как мне хотелось кончить это всё дело!.. Нет, я сгубил свое счастье! У меня есть предчувствие! да нет, не через это, — перебил Вася, затем что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе, — это ничего, это бумага писаная... вздор! Это дело решенное... я... Аркаша, был сегодня там, у них... я ведь не входил. Мне тяжело было, горько! Я только простоял у дверей. Она играла на фортепьяно, я слушал. Видишь, Аркадий, — сказал он, понижая голос, — я не посмел войти...

— Послушай, Вася, что с тобой? ты так на меня смотришь?

— Что? ничего? мне немного дурно; ноги дрожат; это оттого, что я ночью сидел. Да! у меня в глазах зеленеет. У меня здесь, здесь...

Он показал на сердце. С ним сделался обморок.

Когда он пришел в себя, Аркадий хотел принять насильственные меры. Он хотел уложить его насильно в постель. Вася не согласился ни за что. Он плакал, ломал себе руки, хотел писать, хотел непременно докончить свои две страницы. Чтоб не разгорячить его, Аркадий допустил его до бумаг.

— Видишь, — сказал Вася, усаживаясь на место, — видишь, и у меня идея пришла, есть надежда.

Он улыбнулся Аркадию, и бледное лицо его действительно как будто оживилось лучом надежды.

— Вот что: я понесу ему послезавтра не всё. Про остальное солгу, скажу, что сторело, что подмокло, что потерял... что, наконец, ну, не кончил, я лгать не могу. Я сам объясню — знаешь что? я объясню ему всё; я скажу: так и так, не мог... я расскажу ему про любовь мою; он же сам недавно женился, он поймет меня! Я сделаю это всё, разумеется, почтительно, тихо; он увидит слезы мои, он тронется ими...

— Да, разумеется, поди, поди к нему, объяснись... да тут и слез не нужно! из чего? Право, Вася, ты и меня совсем запугал.

— Да, я пойду, пойду. А теперь дай мне писать, дай мне писать, Аркаша. Я никого не трону, дай мне писать!

Аркадий бросился на постель. Он не доверял Васе, решительно не доверял. Вася был способен на всё. Но просить прощения, в чем, как! Дело было не в том. Дело было в том, что Вася не исполнил обязанностей, что Вася чувствует себя виноватым *сам пред собою*, чувствует себя неблагоприятным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастьем и считает себя его недостойным, что, наконец, он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону, а что со вчерашнего дня еще не опомнился от своей неожиданности. «Вот что такое! — подумал Аркадий Иванович. — Нужно спасти его. Нужно помирить его с самим собою. Он сам себя отпавает». Он думал, думал да и решил немедленно идти к Юлиану Мастаковичу, завтра же идти, и рассказать ему всё.

Вася сидел и писал. Измученный Аркадий Иванович прилег, чтоб пораздумать о деле опять, и проснулся перед рассветом.

— Ай, черт! опять! — закричал он, посмотрев на Васю; тот сидел и писал.

Аркадий бросился к нему, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался; глаза его смыкались от слабости. Он едва мог говорить.

— Я и сам хотел лечь, — сказал он. — Знаешь, Аркадий, у меня есть идея; я кончу. Я *ускорил* перо! Дальше сидеть я был неспособен; разбудил меня в восемь часов.

Он не договорил и заснул как убитый.

— Мавра! — шепотом сказал Аркадий Иванович Мавре, вносившей чай, — он просил разбудить его через час. Ни под каким видом! пусть спит хоть десять часов, понимаешь?

— Понимаю, барин-батюшка.

— Обедать не готовь, с дровами не возись, не шуми, беда тебе! Коли спросит меня, скажи, что я в должность ушел, понимаешь?

— Понимаю-ста, батюшка-барин; пусть поживает вволю, что мне! Я рада барскому сну; и барское добро берегу. А намедни, что чашку разбила и попрекать наволели, так это не я, это кошка Машка разбила, а я не догляди за ней; брысь, говорю, проклятая!

— Тсс, молчи, молчи!

Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогою он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мастаковичу, и ловко ли, и не дерзко ли будет? В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство; ответили, что нет да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юлиан Мастакович не приехал, так, стало быть, занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукою он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юлиан Мастакович изволил занимать его особыми поручениями, — какими, не знал никто. Наконец пробило три часа, и Аркадий Иванович бросился домой. В прихожей остановил его один писарь и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил, этак будет в первом часу, и спрашивал, прибавил писарь: тут ли вы и не был ли тут Юлиан Мастакович. Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой вне себя от испуга.

Шумков был дома. Он ходил по комнате чрезвычайно изволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения, затем что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжелой, пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку, единственную, бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов, и мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, часу в одиннадцатом, Вася поднял голову и тупым, неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло две-три минуты; Вася молчал. «Вася! — крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. — Вася! — повторил он, вскочив с кровати. — Вася, что с тобой? что ты?» — закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым, неподвижным взглядом. «На него столбняк нашел!» —

подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тер руки в своих руках. — и Вася очнулся. «Вася, Вася! — кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. — Вася, не губи себя, вспомни! вспомни!..» Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи; он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится.

— Не знаю, что это со мною! — проговорил он наконец, — я, кажется, надорвался. Ну, хорошо, хорошо! Полно, Аркадий, не печалься; полно! — повторял он, смотря на него грустным, изнеможенным взглядом, — чего беспокоиться? полно!

— Ты же, ты же меня утешаешь, — закричал Аркадий, у которого разрывалось сердце. — Вася, — сказал он наконец, — приляг, засни немножко, что? Не мучь себя понапрасну! Лучше потом опять сядешь работать!

— Да, да! — повторял Вася. — Изволь! я лягу; хорошо; да! видишь ли, я хотел кончить, а теперь раздумал, да...

И Аркадий утащил его на постель.

— Слушай, Вася, — сказал он твердо, — нужно окончательно решить это дело! Скажи мне, что ты задумал?

— Ах! — сказал Вася, махнув ослабевшей рукой и повернув на другую сторону голову.

— Полно, Вася, полно! решись! Я не хочу быть убийцей твоим: я не могу больше молчать. Ты не заснешь, коль не решишься, я знаю.

— Как хочешь, как хочешь, — загадочно повторил Вася.

«Сдастся!» — подумал Аркадий Иванович.

— Последуй мне, Вася, — сказал он, — вспомни, что я говорил, и я спасу тебя завтра; завтра я решу твою участь! Что я говорю, участь! Ты так напугал меня, Вася, что я сам толкую твоими словами. Какая участь! Просто вадор, пустяки! Тебе не хочется потерять расположение, любовь, если хочешь, Юлиана Мастаковича, да! и не потеряешь, увидишь... Я...

Аркадий Иванович еще долго бы говорил, но Вася прервал его. Он приподнялся на постели, молча обвил обеими руками шею Аркадия Ивановича и поцеловал его.

— Довольно! — сказал он слабым голосом, — довольно! полно об этом!

И он снова повернул к стене свою голову.

«Боже мой! — думал Аркадий, — боже мой! что с ним? Он совсем потерялся; на что он решился такое? Он погубит себя».

Аркадий смотрел на него в отчаянии.

«Если б он заболел, — думал Аркадий, — может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом уладить всё дело. Но что я вру! Ах, создатель мой!..»

Между тем Вася как будто задремал. Аркадий Иванович обрадовался. «Добрый знак!» — думал он. Он решился сидеть над ним всю ночь. Но сам Вася был неспокоен. Он поминутно вздрагивал, метался на постели и на мгновение открывал глаза. Наконец утомление взяло верх; казалось, он заснул как убитый. Было около двух часов утра; Аркадий Иванович задремал на стуле, облокотясь локтем на стол.

Сон его был тревожен и странен. Ему всё казалось, что он не спит и что Вася по-прежнему лежит на постели. Но странное дело! Ему казалось, что Вася притворяется, что он даже обманывает его и вот-вот встанет потихоньку, наблюдая его вполглаза, и крадется за письменный стол.

Жгучая боль захватывала сердце Аркадия; ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от него и кроется. Он хотел обхватить его, закричать, унести на кровать. . . Тогда Вася вскрикивал у него на руках, и он уносил на постель один бездыханный труп. Холодный пот проступал на лбу Аркадия, сердце его страшно билось. Он открыл глаза и проснулся. Вася сидел перед ним за столом и писал.

Не доверяя чувствам своим, Аркадий взглянул на постель: там не было Васи. Аркадий вскочил в испуге, еще под влиянием своих сновидений. Вася не шелохнулся. Он всё писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, переворачивает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело! «Нет, это не столбняк! — подумал Аркадий Иванович и затрясся всем телом. — Вася, Вася! откликнись же мне!» — закричал он, схватив его за илечо. Но Вася молчал и по-прежнему продолжал строчить сухим пером по бумаге.

— Наконец *и ускорил* перо, — проговорил он, не подымая головы на Аркадия.

Аркадий схватил его за руку и вырвал перо.

Стон вырвался из груди Васи. Он опустил руку и поднял глаза на Аркадия, потом с томительно-тоскливым чувством провел рукою по лбу, как будто желая снять с себя какой-то тяжелый, свинцовый груз, налегший на всё существо его, и тихо, как будто в раздумье, опустил на грудь голову.

— Вася, Вася! — вскричал Аркадий Иванович в отчаянии. — Вася!

Через минуту Вася посмотрел на него. Слезы стояли в его больших голубых глазах, и бледное кроткое лицо его выразило бесконечную муку. . . Он что-то шептал.

— Что, что? — закричал Аркадий, наклонясь к нему.

— За что же, за что меня? — шептал Вася. — За что? Что я сделал?

— Вася! что ты? чего ты боишься, Вася? чего? — закричал Аркадий, ломая руки в отчаянии.

— За что ж меня в солдаты-то отдавать? — сказал Вася, посмотрев прямо в глаза своего друга. — За что? что я сделал?

Волосы стали дыбом на голове Аркадия; он не хотел верить. Он стоял над ним как убитый.

Через минуту он опомнился. «Это так, это минутное!» — говорил он про себя, весь бледный, с дрожащими, носинелыми губами, и бросился одеваться. Он хотел бежать прямо за доктором. Вдруг Вася кликнул его; Аркадий бросился на него и обнял его, как мать, у которой отнимают родное дитя. . .

— Аркадий, Аркадий, не говори никому! слышишь; моя беда! Пусть я один и несусь. . .

— Что ты? что ты? опомнись, Вася, опомнись!

Вася вздохнул, и тихие слезы заструились по щекам его.

— За что же ее убивать? чем же она, чем же она виновата! . . . — проворчал он мучительным, раздражающим душу голосом. — Мой грех, мой грех! . . .

Он замолчал на минуту.

— Прощай, моя любя! Прощай, моя любя! — шептал он, качая бедной своей головою. Аркадий вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором. — Идем! пора! — закричал Вася, увлекшись последним движением

Аркадия. — Идем, брат, идем; я готов! Ты меня проводи! — Он замолчал и взглянул на Аркадия убитым, недоверчивым взглядом.

— Вася, не ходи за мной, ради бога! подожди меня здесь. Я сейчас, сейчас ворочусь к тебе, — говорил Аркадий Иванович, сам теряя голову и схватив фуражку, чтобы бежать за доктором. Вася уселся тотчас; он был тих и послушен, только в глазах его сияла какая-то отчаянная решимость. Аркадий воротился, схватил со стола разогнутый перочинный ножичек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры.

Был восьмой час. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате.

Он не нашел никого. Он бегал уже целый час. Все доктора, адреса которых узнавал он у дворников, навевываясь, не живет ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже уехали, кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов. Он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришел Нефедевич: от кого, кто и как, по какой надобности и как даже будет приметам ранний посетитель? — и заключил тем, что нельзя, дела много и ехать не может, а что такого рода больных нужно в больницу везти.

Тогда убитый, потрясенный Аркадий, никак не ожидавший подобной развязки, бросил всё, всех докторов на свете, и пустился домой, в последней степени испуга за Васю. Он вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чем не бывала, мела пол, ломала лучинки и готовилась печь топить. Он в комнату — Васи и след простыл: он ушел со двора.

«Куда? где? куда побежит несчастный?» — подумал Аркадий, леденея от ужаса. Он начал допрашивать Мавру. Та ничего не знала, не ведала, да и не слыхала, как вышел, прости его господи! Нефедевич бросился к коломенским.

Ему, бог знает отчего, пришло на мысль, что он там.

Был уже десятый час, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал, где Вася? У старухи подломились ноги; она рухнула на диван. Лизанька, вся дрожа от испуга, начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделался наскоро, выдумал какую-то басню, которой, разумеется, не поверили, и убежал, оставив всех потрясенными, измученными. Он бросился в свое ведомство, чтоб по крайней мере не опоздать и дать знать туда, чтоб поскорее приняли меры. Дорого ему вздумалось, что Вася у Юлиана Мस्ताковича. Это было вернее всего: Аркадий прежде всего, прежде коломенских, подумал об этом. Проезжая мимо дома его превосходительства, он хотел остановиться, но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать: нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет, явиться к его превосходительству по крайней мере в качестве рапортующего об Васе. Кому-нибудь нужно же было рапортовать!

Еще в приемной окружили его товарищи помоложе, все большее частью ему равные чином, и в один голос стали расспрашивать, что сделалось с Васей? Все они в то же время говорили, что Вася с ума сошел и помешался на том, что его в солдаты хотят отдать за неисправное исполнение дела. Аркадий Иванович отвечал на все стороны или, лучше сказать, не отвечая положительно никому, стремился во внутренние покои. На дороге узнал он, что Вася в кабинете Юлиана Мस्ताковича, что туда все пошли и что Эспер Иванович тоже туда пошел. Он было приостановился. Кто-то из старших спросил его, куда он и что ему надо? Не отличив лица, он проговорил что-то об Васе и пошел прямо в кабинет. Оттуда уже слы-



шался голос Юлиана Мастаковича. «Куда вы?» — спросил его кто-то у самых дверей. Аркадий Иванович почти потерялся; он уже хотел было ворваться, но из-за приотворенной двери увидел своего бедного Васю. Он отворил и протеснился кое-как в комнату. Там царствовала суматоха и недоумение, затем что Юлиан Мастакович был, по-видимому, в сильном огорчении. Около него стояли все, кто поважнее, толковали и не решились ровно ничего. Поодаль стоял Вася. Всё замерло в груди Аркадия, когда он взглянул на него. Вася стоял бледный, с поднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. Он глядел прямо в глаза Юлиану Мастаковичу. Тотчас заметили Нефедевича, и кто-то, знавший, что они сожители, доложил о том его превосходительству. Аркадия подвели. Он хотел что-то ответить на предложенные вопросы, взглянул на Юлиана Мастаковича и, видя, что на лице его изобразилась истинная жалость, затрясся и зарыдал как ребенок. Он даже сделал более: бросился, схватил руку начальника и поднес к глазам своим, омывая ее слезами, так что даже сам Юлиан Мастакович принужден был отнять ее наскоро, махнув ею по воздуху и сказать: «Ну, полно, брат, полно; вижу, что у тебя доброе сердце». Аркадий рыдал и бросал на всех умоляющие взгляды. Ему казалось, что все братья его бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут об нем. «Как же это, как же это с ним сделалось? — говорил Юлиан Мастакович. — Отчего же он с ума сошел?»

— От бла-благо-дарности! — мог только выговорить Аркадий Иванович. Все выслушали ответ его в недоумении, и всем показалось странным и невероятным: как же это так может из благодарности сойти с ума человек? Аркадий объяснился как умел.

— Боже, как жаль! — проговорил наконец Юлиан Мастакович. — И дело-то, порученное ему, было неважное и вовсе не спешное. Так-таки, не из-за чего, погиб человек! Что ж, отвести его! . . . — Тут Юлиан Мастакович обратился снова к Аркадию Ивановичу и снова начал его расспрашивать. — Он просит, — сказал он, указав на Васю, — чтоб не говорили об этом какой-то девушке; что она, невеста, что ли, его?

Аркадий стал объяснять. Между тем Вася как будто думал о чем-то, как будто с величайшим напряжением припоминал одну важную, нужную вещь, которая вот именно теперь бы и пригодилась. Порой он страдальчески поводил глазами, как будто надеялся, что кто-нибудь напомнит ему про то, что забыл он. Он устремился глазами на Аркадия. Наконец, вдруг, как будто надежда блеснула в глазах его, он двинулся с места с левой ноги, ступил три шага как только мог ловче и даже пристукнул правым сапогом, как делают солдаты, подойдя к подозвавшему их офицеру. Все ожидали, что будет.

— Я с телесным недостатком, ваше превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь на службу, — сказал он отрывисто.

Тут все, кто ни были в комнате, все почувствовали, как будто кто-нибудь сжал им сердце, и даже как ни тверд был характером Юлиан Мастакович, но слеза потекла из глаз его. «Уведите его», — сказал он, махнув рукою.

— Лоб! — сказал Вася вполголоса, повернулся налево кругом и вышел из комнаты. За ним бросились все, кого интересовала его участь. Аркадий теснился за прочими. Васю усадили в приемной в ожидании предписания и кареты, чтоб отвезти его в больницу. Он сидел молча и был, казалось, в чрезвычайной заботе. Кого узнавал, тому кивал головою, как будто прощаясь с ним. Он поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажут:

«пора». Кругом его столпились тесный кружок; все покачивали головами, все сетовали. Многих поразила его история, которая уже вдруг сделалась известною; одни рассуждали, другие жалели и хвалили Васю, говорили, что был такой скромный, тихий молодой человек, что обещал так много; рассказывали, как он старался учиться, был любознателен, стремился образоваться. «Собственными силами вышел из низкого состояния!» — заметил кто-то. С умилением говорили о привязанности к нему его превосходительства. Некоторые пустились объяснять, почему именно пришлось в голову Васе и он на том помешался, что его отдадут в солдаты за то, что не кончил работы. Говорили, что бедняк недавно из податного звания и только по ходатайству Юлиана Мастаковича, умевшего отличить в нем талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин. Одним словом, очень много было разных толков и мнений. В особенности, из потрясенных, заметен был один, очень маленький ростом, сослуживец Васи Шумкова. И не то чтобы-таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже тридцати. Он был бледен как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался — может быть, потому, что всякое скандальное дельце или ужасная сцена и пугает, и вместе с тем как-то несколько радуется постороннего зрителя. Он поминутно обегал весь кружок, обступивший Шумкова, и так как был мал, то становился на цыпочки, хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать, и всё говорил, что он знает, отчего это всё, что это не то чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя; потом опять становился на цыпочки, нашептывал на ухо слушателю, опять кивал раза два головою и слова перебегал далее. Наконец кончилось всё: явился сторож, фельдшер из больницы, подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. Он вскочил, засуетился и пошел с ними, оглядываясь кругом. Он искал кого-то глазами! «Вася! Вася!» — кричал, рыдая, Аркадий Иванович. Вася остановился, и Аркадий-таки протеснился к нему. Они бросились в последний раз друг другу в объятия и тяжело сжали друг друга. . . Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастье вырывало слезы из глаз их? об чем они плакали? где эта беда? зачем они не понимали друг друга? . .

— На, на, возьми! сбереги это, — говорил Шумков, всовывая какую-то бумажку в руку Аркадия. — Они у меня унесут. Принеси мне потом, принеси; сбереги. . . — Вася не договорил, его кликнули. Он поспешно сбежал с лестницы, кивая всем головою, прощаясь со всеми. Отчаяние было на лице его. Наконец усадили его в карету и повезли. Аркадий поспешно развернул бумажку: это был локон черных волос Лизы, с которыми не расставался Шумков. Горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. «Ах, бедная Лиза!»

По окончании служебного времени он пошел к коломенским. Нечего говорить, что там было! Даже Петя, малютка Петя, не совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашел в угол, закрылся ручонками и зарыдал во сколько стало его детского сердца. Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр игlistого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных на смерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего

звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столбы дыма, слетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе. . . . Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искуритя паром к темносинему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вадрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он поблелел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту. . . .

Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна — он взял другую. К коломенским идти он не хотел, да и не мог. Через два года он встретил Лизаньку в церкви. Она была уже замужем; за нею шла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава богу, счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит. . . . Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос унаал, она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтоб скрыть от людей свое горе. . . .

ПОЛЗУНКОВ

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны — или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жирутку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что всё его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял смеяться над собой во всё горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время — и я даю клятву в том — его сердце пыло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться по факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что всё это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материальной несыгоды быть прогнанным в толчки и не заняты у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! И стыд-то, и ложная наглость,

и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества — всё это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божьем свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Самó собою разумеется, что очерстеть и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостью: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностью и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самонадеяние — всё это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченною личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, падел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предостояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не падая себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих *покровителей*, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами. . . Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительное слово.

— Слушайте, — шепнул мне хозяин. — Он рассказывает иногда пре-любобытные вещи. . . Интересует он вас?

Я кивнул головою и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во всё горло.

— Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! — кричал чудак с своего возвышения. — Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю — чудо! . .

— Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

— Рассказывай!!

— Слушайте же. . .

— Слушайте, слушайте!!!

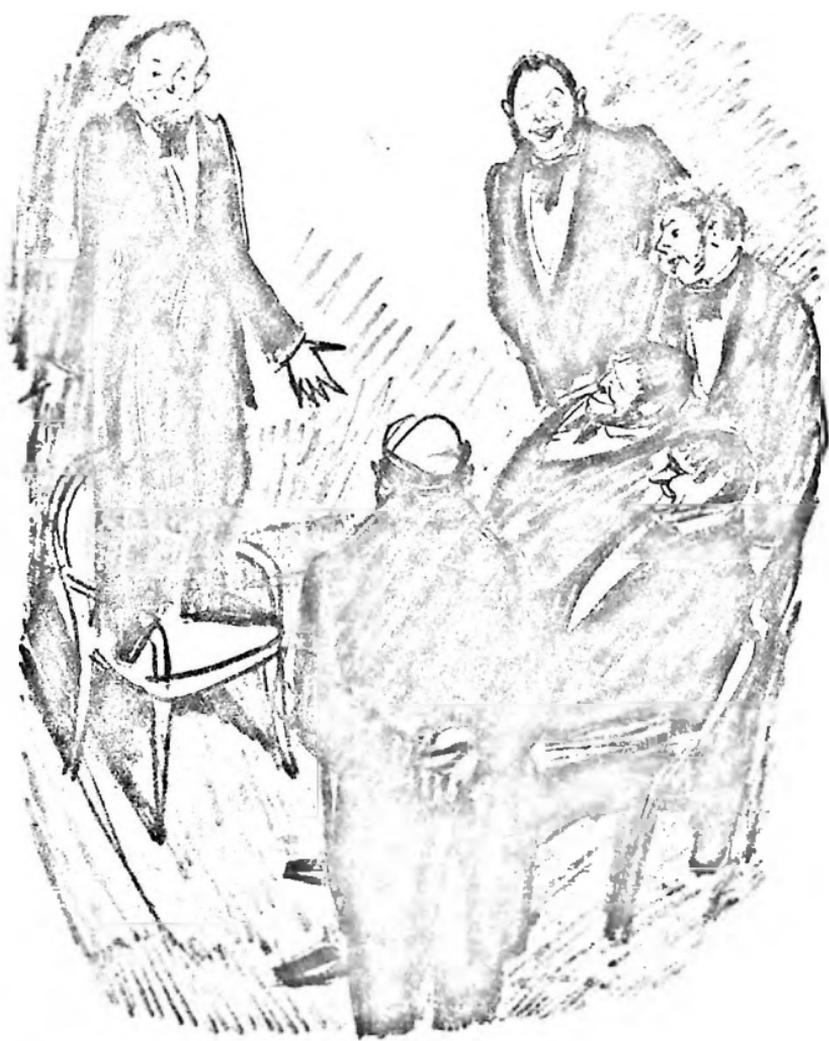
— Начинаю; но, господа, это история особенная. . .

— Хорошо, хорошо!

— Это история комическая.

— Очень хорошо, превосходно, прекрасно, — к делу!

— Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего. . .



- Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая!
- И даже немного трагическая!
- А? ? ? !
- Словом, та история, которая вам всем доставляет счастье слушать меня теперь, господа, — та история, вследствие которой я попал в такую *интересную* для меня компанию.
- Без каламбуров!
- Та история. . .
- Словом, та история, — уж доканчивайте поскорее аполог, — та история, которая чего-нибудь стоит, — примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.
- Та история, мой сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И наконец, та история, вследствие которой я не женился!
- Женился! . . жена! . . Ползунков хотел жениться! !
- Признаюсь, я бы желал теперь видеть madame Ползункову!
- Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую madame Ползункову, — пищал один юноша, пробираясь к рассказчику.
- Итак, первая глава, господа: то было ровно шесть лет тому, весной, тридцать первого марта, — заметьте число, господа, — накануне. . .
- Первого апреля! — закричал юноша в завитках.
- Вы необыкновенно угадливы-с. Был вечер. Над уездным городом N. сгустились сумерки, хотела выплыть луна. . . ну, и всё так как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, втихомолочку, и я выплыл из своей квартирочки, — простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николай Николаича. Но бабушка моя была вполне *замкнутая*: она была слепа, нема, глуха, глупа, — всё что угодно! . . Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело; сердчишко по мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот.
- Позвольте, monsieur Ползунков!
- Чего требуете?
- Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишком старайтесь!
- Слушаю-с, — проговорил немного смутившийся Осип Михайлыч. — Я вошел в домик Федосей Николаича (благоприобретенный-с), Федосей Николаич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу: совсем, совсем почти темная комната, а свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаич. Так мы и остаемся с ним в темноте. . .
- Что ж бы такое произошло между вами? — спросил один офицер.
- А как вы полагаете-с? — спросил Ползунков, немедленно обращаясь с судорожно шевельнувшимся лицом, к юноше в завитках.
- Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, — я просто-запросом вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными. . .
- Ассигнациями?
- Ассигнациями-с, и мы поменялись.
- Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, — проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

— Взятками-с! — подхватил Ползунков. — Эх!

Пусть я буду либералом,
Каких много видел я!

если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погреете рук... на родном очаге... Зане, сказал один литератор:

И дым отечества нам сладок и приятен!

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и сосем!..

Поднялся общий смех.

— А только, поверите ли, господа, я никогда не брал взяток, — сказала Ползунков, недоверчиво оглядывая всё собрание.

Гомерический, неумолкаемый смех всем залом своим накрыл слова Ползунова.

— Право, так, господа...

По тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, — кто знает, — может быть, в эту минуту ему вспало на ум, что он почестнее многих из всей этой честной компании... Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости.

— Итак, — начал Ползунков, когда все поутихло, — хотя я никогда не брал взяток, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею Николаичу.

— Так, стало быть, он их выкупил?

— Выкупил-с.

— Много дал?

— Дал столько, за сколько мной в наше время продал бы совесть свою, всю, со всеми вариациями-с... если бы только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, — но вот, ни жив ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов прощения просить у Федосея Николаича...

— Ну, что ж он, простил?

— Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза:

— Бога, говорит, вы не бонтесь, Осип Михайлыч.

Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: «Что же, я говорю, бога не боюсь. Федосей Николаич?..» Только уж так говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов.

— Быв так долго другом семейства нашего, быв, могу сказать, сыном, — и кто знает, что небо предполагало, Осип Михайлыч! И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь!.. Что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?

Да ведь как, господа, как рацею читал! «Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?» Что, думаю, думать! Знаете, и в горле заскребло, и голосенко дрожит, ну уж предчувствую свой скверный порок и схватился за шлану...

— Куда ж вы, Осип Михайлыч? Неужели накануне такого дня... Неужели вы и теперь злонамятствуете; чем я против вас согрешил?..

— Федосей Николаич, говорю, Федосей Николаич!

Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Ку-

да! и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать океанский, — словно пять пулов в нем, так таяет... (А если б и взаправду в нем пять пулов было!..)

— Вижу, — говорит Федосей Николаич, — вижу ваше раскаяние... вы, знаете, завтра...

— Марии Египетски-с...

— Ну, не плачь. — говорит Федосей Николаич, — полно: согрешил и покайся! пойдем! Может быть, удастся мне возвратить, говорит, вас опять на путь истинный... Может быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, так и выразился, разбойник) согреют, говорит, опять ваше очертств... не скажу очерствелое, — заблудшие сердце...

Взял он меня, господа, за руку и повел к домохозяцам. Мне спину морозом прохватывает; дрожу! думаю, с какими глазами предстану я... А нужно вам знать, господа... как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце!

— Уж не госпожа ли Ползуноква?

— Марья Федосеевна-с, — только не суждено, знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести! Оно, видите, Федосей-то Николаич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался. Оно и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке Михайло Максимыч Двигайлов по прозвищу. Только он волею божию помер, а завещание-то совершить всё в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыскали потом...

— Ух!!!

— Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, — каламбурчик-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, — штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке — хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинные!), — а тоже, может быть не ошибкой, родным сыном считал.

— Ага!

— Да-с, оно вот как-с! Ну, и стали мне носы показывать у Федосея Николаича. Я замечал-замечал, крепился-крепился, а тут вдруг, на беду мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтер наскакал на наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, — только так плотно утвердился у Федосея Николаича, — ну, словно мортира, засел! Я обиходом да стороночкой, по подлomu норову, «так и так, говорю, Федосей Николаич, за что ж обижать! Я в некотором роде уж сын... Отческого-то, отческого когда я дождусь...» Начал он мне, сударик ты мой, отвечать! ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош, то есть какого толку, не разберешь, не поймешь, стоишь дурак дураком, затуманит, словно выюн вьется, вывертывается; ну, талант, просто талант, дар такой, что вуже страх пробирает! Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романсы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высжииваю, охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да тайное объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у дьячка, что мне тридцать лет... куды! хитрять выдумал! нет же! не пошло мое дело, смехи да насмешки кругом, — ну, и зло меня взяло, за горло совсем захватило, — я улизнул, да в дом ни ногой, думал-думал — да хватъ донос! Ну, поподличал, друга выдать хотел, сознаюсь, материяльцу-то было много, и слав-

ный такой материал, капитальное дело! Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял!

— А! так вот она, взятка-то!

— Да, сударь, вот была взяточка-то-с; поплатился мне взяточник! (И ведь не грешно, ну, право же, нет!) Ну, вот-с теперь продолжать начну: притация он меня, если запомнить изволите, в чайную ни жива ни мертва; встречают меня: все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, — разогорченные так, что уж просто... Ну, убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отеческое, родственное такое... блудный сын воротился к нам, — вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! Марья Фоминишна, супруга его, советница надворная (а теперь коллежская), мне ты с первого слова начала говорить: «Что ты, батенька, так похудел». — говорит. «Да так, прихварываю, говорю, Марья Фоминишна...» Голосенко-то дрожит у меня! А она мне ни с того ни с сего, зная, выжидала свое вернуть, ехидна такая: «Что, видно, совесть, говорит, твоей душе не по мерке приилась, Осип Михайлыч, отец родной! Хлеб-соль-то наша, говорит, родственная возопила к тебе! Отлились, зная, тебе мои слезки кровавые!» Ей-богу, так и сказала, пошла против вести; чего! то ли за ней, бой-баба! Только так сидела да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынке, моя голубушка, всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница! А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка, выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька немножко, глазки покраснелись, будто от слез, — я как дурак и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонтеру она слезки роила: тот утек восвоем, улелетнул подобру-поздорову, потому что, знаете, зная (оно пришлось теперь к слову сказать), пришло ему время усхать, срок вышел, оно не то чтобы и казенный был срок-то! а так... уж после родители дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашли беду, — своего дому прибыло!.. Ну, нечего делать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал, накопился на шляпу, хотел схватить да улелетнуть поскорее; не тут-то было: утащили шляпу мою... Я уж, признаться, и без шляпы хотел — ну, думаю, — нет же, дверь на крючок насадили, смешки дружеские начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то соврал, об амуре понес; она, моя голубушка, за клавикуды села да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон, — смерть моя! «Ну, — говорит Федосей Николаич, — всё забыто, приди, приди... в объятия!» Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. «Благодетель мой, отец ты мой родной!» — говорю, да как зальюсь своими горючими! Господи, бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба его плачет, Машенька плачет... тут еще белобрысенькая одна была: и та плачет... куда — со всех углов ребятишки повыползали (благословил его домком господь!), и те режут... сколько слез, то есть умиленье, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился! Тут угощение подали, фанты пошли: ох, болит! что болит? — сердце; по ком? Она краснеет, голубушка! Мы с стариком пунышку выпили, — ну, уходили, уластили меня совершенно...

Воротился я к бабушке. У самого голова кругом ходит; всю дорогу шел да подсмеивался, дома два часа битых по каморке ходил, старуху разбудил, ей всё счастье поведал. «Да денег-то дал ли, разбойник?» — «Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал, привалило к нам, отворил ворота!» — «Ну, теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, — говорит мне

старуха, — знать, молитвы мои услышаны!» Софрона разбудил. «Софрон, говорю, снимай сапоги». Софрон потащил с меня сапоги. «Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцелуй! Женюсь, просто, братец, женюсь, напейся пьян завтра, гуляй душа, говорю: барины твоя женятся!» Смешки да игрушки на сердце!.. Уж засыпать было начал; нет, подняло меня опять на ноги, сижу да думаю; вдруг и мелькну у меня в голове: завтра-де первое апреля, день-то такой светлый, игривый, как бы так? — да и выдумал! Что ж, сударики! с постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел, то есть уж расходился совсем, зангрался, — знаете, господа, когда человек разыграется! Всей головой, отцы мои, в грязь пошел! То есть вот какой норв: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душой обляпишь их глупыми ланями — и ну лобызаться! Ведь вот хоть бы теперь, господа! Вы смеетесь да шепчетесь, я ведь вижу! После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я-то вам говорю, говорю, говорю! Ну, кто мне велел! Ну, кто меня гонит! Кто у меня за плечами стоит да шепчет: говори, говори да рассказывай! А ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадышные... э-эх!..

Хохот, начинавший мало-помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой-то восторг; он остановился, несколько минут перебега глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким-то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать:

— Едва заснул я в ту ночь, господа; всю ночь строчил на бумаге: видите ли, штуку я выдумал! Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз, заблудился, напугал вздору, наврал, — нет же! Утром проснулся ни свет ни заря, всего-то и спал часик-другой, и за то же! Одежда, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам, с отверстыми, и опять зовет на жилетку родительскую! Я и приосанился в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отступил. «Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию бумажку прочтите», — да и подаю ее при рапорте; а в рапорте-то знаете что было? А было: по таким-то да по таким-то такого-то Осни Михайлыча уволить в отставку, да под просьбой-то весь чин подмахнул! Вот ведь что выдумал, господи! и умнее-то ничего придумать не мог! Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ши вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подам. Этаким подлоцом представился, напугать их выдумал! и выдумал чем напугать! А? хорошо, господа? То есть вот заласкаюсь к ним сердце со вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отлущу, подтратно над родительским сердечком Федосея Николаича...

Только взял он бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него вся физиономия. «Что ж, Осни Михайлыч?» А я как дурак: «Первое апре-

ля! с праздником вас, Федосей Николаич!» — то есть совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потом уф! ей на ухо, во все горло, — пугать вздумал! Да... да просто даже совестно рассказывать, господа! Да нет же! я не буду рассказывать!

— Да нет, что же дальше?

— Да нет, да нет, расскажите! Нет, уж рассказывайте! — поднялось со всех сторон.

— Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! и проказник-то я, и забавник-то я, и перепугал-то я их, ну такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь да со страхом и думаешь: как такого грешника такое место святое на себе держать может! «Ну, родной ты мой, — заприщала советница, — напугал меня так, что о сю пору ноги трясутся, еле на месте держат! Выбежала я как полудумная к Маше: Машенька, говорю, что с нами будет! Смотри, каким *твоей-то* оказывается! Да сама согрешила, родимый, уж ты прости меня, старуху, опростоволовелась! Ну, думаю: как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, заплечь хотели, так и обмерла я! Полно, Машенька, полно мигать мне, Осип Михайлыч нам не чужой; я же твоя мать, дуриного ничего не скажу! Слава богу, не двадцать лет на свете живу: целых сорок пять!..»

Ну, что, господа! Чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут! Опять прослезилась, опять лобызания пошли! Шуточки начались! Федосей Николаич тоже для первого апреля итучку изволили выдумать! Говорит, дескать, жар-птица прилетела, с бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла! Тоже падуть хотел, — смех-то пошел какой! умилението было какое! тьфу! даже срамно рассказывать.

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны, день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все дела свалил на меня: счета, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить, — смотрю: беспорядок ужаснейший, всё в запустении, везде крючки да кавычки! ну, думаю, потружусь для тешюшки! А тот всё прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я сам, как спичка, почей не силу, повалиться боюсь! Однако кончил-таки дело на славу! выручил к сроку! Вдруг шлют за мной гонца. «Поскорей, говорят, худо Федосею Николаичу!» Бегу сломя голову — что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвизанный, укусу к голове примочил, морщится, крихтит, охает: ох да ох! «Родной ты мой, милый ты мой, говорит, умру, говорит, на кого-то я вас оставляю, птенцы мои!» Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, — ну, я и сам зарюмил! «Ну, нету же, говорит, бог будет милостив! Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения!» Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть, остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. «Просьба есть до тебя!» — «Какая-с?» — «Так и так, братец, и на смертном одре нет покоя, зануждался совсем!» — «Как так?» Меня тут и краска прошибла, язык отнялся. «Да так, братец, из своих пришлось в казну приплатиться; я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею! Ты не думай чего! Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило! Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я... кто ж больше! С меня,

братец, выйду: чего смотрел? А что с Матвеева взять! Уж и так довольно с него; что горемыку под обух подводить!» Святители, думаю, вот праведник! вот дуна! А он: «Да, говорит, дочерних братья не хочу, из того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свои, есть, правда, да в люди отдаши, где их сейчас соберешь!» Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. «Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки!» Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. «Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во веки веков!» Ну, как благословил-то он меня, господя, я во все лопатки домой, достал сумму: «Вот, батюшка, всё, только пятьдесят целковых извел!» — «Ну ничего, говорит, а теперь всякое лыко в строку; время спешное, напиши-ка рапорт, задним числом, что зануждался да вперед просишь жалованья пятьдесят рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано...» Ну что ж, господя! как вы думаете? ведь я и рапорт написал!

— Ну что же, ну чем же, ну как это кончилось?

— Только что написал я рапорт, сударики вы мои, вот чем кончилось. Назавтра же, на другой же день, раисехонко поутру пакет за казенной печатью. Смотрю — и что ж обретаю? Отставка! Дескать, сдать дела, свести счеты, а самому идти на все стороны!..

— Как так?

— Да уж и я тут благим матом крикнул: как так! сударики! Чего, в ушах зазвенело! Я думал спроста, ан нет, ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как был, к Федосею Николаичу: «Что?» — говорю. «А что ж?» — говорит. «Да вот же отставка!» — «Какая отставка?» — «А это?» — «Ну что ж, и отставка-с!» — «Да как же, разве я пожелал?» — «А как же, вы подали-с, первого апреля вы подали» (а бумагу-то я не взял назад!). — «Федосей Николаич! да вас ли слышат уши мои, вас ли видит очи мои!» — «Меня-с, а что-с?» — «Господи, бог мой!» — «Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, вестер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуете-с!» — «Да ведь я ж тогда шуточкой, Федосей Николаич, я ж не хотел, я так подал бумагу, для родительского вашего... вот!» — «Как-с вот! Какое, сударь, шуточкой! Да разве такими бумагами шутят-с? да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь уекут-с. Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с. А уж я вас так как следует аттестую-с. Да еще-с, вот я дом у Матвеева сторговал, переждем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия нас на новоселье у себя увидеть. Счастливого пути!» Я домой со всех ног: «Пропали мы, бабушка!» — взвела она, сердечная; а тут, посмотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке стоит: *первое апреля*, а больше и нет ничего. Вот, господя, что, как вы думаете-с?!

— Ну, что же, что же дальше???

— Чего дальше! встретил я раз Федосея Николаича, хотел было ему в глаза подлещя сказать...!

— Ну!

— Да как-то не выговорилось, господя!

МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

Еще очень маленький, лет шести или даже менее, мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какаля-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в пеньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзка и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, в огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видел ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркается — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика.

Вот и опять улица. — ох какая широкая! Вот здесь так разданы на-верно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и ибл-ков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевеливать. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — мандаринные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил дверь и вошел. Ух, как па него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копейчку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копейчка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на руки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: в окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платья и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипках, и в так качают своими головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят. — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что зади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть! «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспоминая про них, — совсем-как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я силю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руки и... и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, — но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они



целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколочек за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинках, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забжежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свидетели у господ бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

ЕЛКА И СВАДЬБА

(Из записок неизвестного)

На днях я видел свадьбу... но нет! Лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша; она мне очень понравилась, но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо, со связями, с знакомством, с интригами, так что можно было подумать, что детский бал этот был предложением для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний; материй у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье... Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, худоцавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но видно было, что ему вовсе не до радостей и семейного счастья: когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро, до конца, роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не соп атоге и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть издали узнав птицу по перьям, и потому мой господин принужден был, чтоб только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить.

Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было пятеро сытенных мальчиков, понравилась мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства.

Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяйню, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, деляли, подводили к нему, для рекомендации, своих гостей, а его самого ни к кому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты.

Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на *больших*, несмотря на все увещания гувернанток и маменок. Они разобрали всю слку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик, черноглазый, в кудряшках, который всё хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами навыкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку — своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителей, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое триста тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову набок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиленья и прочее, без картинок и даже без вишнетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забытый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе, и оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидел уже с полчаса в плющевой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремя-

стами тысяч приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандальной сценой ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с напешью будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам.

— Триста... триста... шентал он. — Одиннадцать... двенадцать... тринадцать и так далее. Шестнадцать — пять лет! Положим, по четыре на сто — 12, пять раз = 60, да на эти 60... ну, положим, всего будет через пять лет — четыреста. Да! вот... Да не по четыре со ста же держит, мошенник! Может, восемь аль десять со ста берет. Ну, пятьсот, положим, пятьсот тысяч, по крайней мере, это наверно; ну, излишек на трипки, гм...

Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видел за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое, но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до *nes plus ultra*, когда он остановился и бросил другою, решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом, на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга.

— А что вы тут делаете, милое дитя? — спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке.

— Играем...

— А? с ним? — Юлиан Мастакович покосился на мальчика.

— А ты бы, душенька, пошел в залу, — сказал он ему.

Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять поосмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.

— А что это у вас, куколка, милое дитя? — спросил он.

— Куколка, — отвечала девочка, морщась и немощко робея.

— Куколка... А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана?

— Не знаю... — отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову.

— А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам, — сказал Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребенка. Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться.

— А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? — спросил Юлиан Мастакович, понижая всё более и более голос.

— Не знаю.

— А оттого, что вы были милое и благочинное дитя всю неделю.

Тут Юлиан Мастакович, взволнованный допозна, осмотрелся кругом и, понижая всё более и более голос, спросил наконец неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом:

— А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?

Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович рассердился не в шутку.

— Пошел, пошел отсюда, пошел! — говорил он мальчишке. — Пошел в залу! пошел туда, к своим сверстникам!

— Нет, не нужно, не нужно! подите вы прочь, — сказала девочка, — оставьте его, оставьте его! — говорила она, почти совсем заплакав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. По рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразили вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка и прямо абординовать свой предмет, несмотря на то что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчишка, который, уходя от него всё дальше и дальше, не знал — куда забежать от страха.

— Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмирившего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенок. Это был человек сытенный, румянецкий, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во всё горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на всё значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднести к носу платок, который держал, за один кончик, в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас; но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя.

— Вот-с тот мальчик-с, — сказал он, указав на рыженького, — о котором я имел честь просить...

— А? — отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

— Сын гувернантки детей моих, — продолжал хозяин просительным тоном, — бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

— Ах, нет, нет, — поспешно закричал Юлиан Мастакович, — нет, извините меня. Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся: вакансий нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль...

— Жаль-с, — повторил хозяин, — мальчик скромненький, тихонький...

— Шалун большой, как я замечаю, — отвечал Юлиан Мастакович,



истерически скривив рот. — пошел, мальчик, что ты стоишь, пойдн к своим сверстникам! — сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяйни, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяйни, с недовольностью качал головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою, десять минут назад, Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благососитанности милого дитяти. Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтоб не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочке в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством; слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мастакович принял приглашение и как потом гости, разойдясь все, как приличные требовало, в разные стороны, рассыпали друг перед другом в умилительных похвалах откупщицу, откупщику, девочке и в особенности Юлиану Мастаковичу.

— Женат этот господин? — спросил я, почти вслух, одного из знакомых моих, стоявшего ближе всех к Юлиану Мастаковичу.

Юлиан Мастакович бросил на меня испуганный и злобный взгляд.

— Нет! — отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею неловкостью, которую я сделал умышленно. . .

Недавно я проходил мимо ***ской церкви; толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморось; я пробрался за толпою в церковь и увидел жениха. Это был маленький, кругленький, сытенький человек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно; мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский, невинный облик; сказывалось что-то донельзя наивное, неустановившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мастаковича, которого не видел ровно пять лет. Я поглядел на нее. . . Боже мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданого. . . и на сколько-то тряпками. . .

«Однако расчет был хорош!» — подумал я, протеснившись на улицу. . .

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

(Из неизвестных мемуаров)

Было мне тогда без малого одиннадцать лет. В юле отпустили меня гостить в подмосковную деревню, к моему родственнику, Т—ву, к которому в то время съехалось человек пятьдесят, а может быть и больше, гостей... не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, что это был праздник, который с тем и начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать все свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать всё, дотла, дочиста, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости. Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затаям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами свежий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся звонким как колокольчик смехом; танцы, музыка, пение; если хмурилось небо, сочились живые картины, шарады, пословицы; устраивался домашний театр. Явились красобои, рассказчики, бонмотисты.

Несколько лиц резко обрисовывалось на первом плане. Разумеется, злословие, слетити или своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски как мухи. Но так как мне было одиннадцать лет, то я и не замечая тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не всё. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум — всё это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся и маленькая голова моя закружилась.

Но я всё говорю про свои одиннадцать лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справиться с моими годами. Но — странное дело! — какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шестисти-

ло уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему; но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливало лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.

То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все — или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего бы и не случилось со мною, если бы я не был в исключительном положении. На глаз всех этих прекрасных дам, я всё еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверное прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливых блондинок, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или настороже дочки. Ростом она была невысока и немного полна, по с нежными, тонкими линиями лица, очаровательного нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она — как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых искрометных глаз ни на какие черные. Будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стояла той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилей, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, несмотря на то что лет пять как уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы.

Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком; не было ни одного места свободного; а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра всё более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов; где и стал наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще знакомы не были. И вот, как-то невзначай, заметрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень, хотя мне решительно всё равно

было смотреть: па чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывающий седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезревшая дева, одна из тех, которые, как случилось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело; только эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбунулась.

— Нравится вам, что играют? — спросила она, лукаво и насмешливо посмотрев мне в глаза.

— Да, — отвечал я, всё еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей в свою очередь, видимо, нравилось.

— А зачем же вы стоите? Так — устанете; разве вам места нет?

— То-то и есть, что нет, — отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось наконец доброе сердце, которому можно открыть свое горе. — Я уж искал, да все стулья заняты, — прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.

— Ступай сюда, — живо заговорила она, скорая на все решения так же, как и на всякую сумасбродную идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее голове, — ступай сюда, ко мне, и садись мне на колени.

— На колени? — повторил я, озадаченный.

Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в пример другим далеко заходила. К тому же я, и без того всегда робкий и стыдливый мальчик, теперь как-то особенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно сконфузился.

— Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть ко мне на колени? — настаивала она, начиная смеяться всё сильнее и сильнее, так что наконец просто принялась хохотать бог знает чему, может быть, своей же выдумке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но ей того-то и нужно было.

Я покраснел и в смущении осматривался кругом, приискивая — куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем неожиданно, к величайшему моему удивлению, прельбно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, бог знает за что и при всех. Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья хохотала мне в глаза как безумная, а между тем всё сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного мальчика и замистифицировать его в прах. Положение мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, потому что почти все кругом нас оборотились к нам, одни в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что красавица что-нибудь напраказала. Кроме того, мне страх как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу: а я, как спартанец, решил выдерживать

боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы случилось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я наконец борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец я не выдержал, вскрикнул, — того только и ждала! Мигом она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бывала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну хоть в-точь какой-нибудь школьник, который, чуть отвернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь по соседству, шипнуть какого-нибудь крошечного, слабосильного мальчика, дать ему щелчка, шишка, подтолкнуть ему локоть и мигом опять повернуться, поправиться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок и, таким образом, оставить разгневанного господина учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум, — с предлинным и неожиданным носом.

Но, к моему счастью, общее внимание увлечено было в эту минуту мастерской игрой нашего хозяина, который исполнял в игравшей пьеске, какой-то скрибовской комедии, главную роль. Все заинтересовалось; я, под шумок, скользнул из ряда и забежал на самый конец залы, в противоположный угол, откуда, притаившись за колошной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная красавица. Она всё еще хохотала, закрыв платком свои губки. И долго еще она оборачивалась назад, выглядывая меня по всем углам, — вероятно, очень жалея, что так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и придумывая, как бы еще что-нибудь напроказить.

Этим началось наше знакомство, и с этого вечера она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследовала меня без меры и совести, делалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюбленною в меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне, прямому дикарю, всё это до слез было тяжело и досадно, так что я уже несколько раз был в таком серьезном и критическом положении, что готов был подраться с моей коварной обожательницей. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал — куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас и который она умела-таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали наконец находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я.

Но уж такой был характер: была она, по всей форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее всего более ее же собственный муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красивый человек, очень богатый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертлявый, хлопотливый, он двух часов не мог прожить на одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву, иногда по два раза, и всё, как сам уверял, по делам. Веселее и добродушнее этой комической и между тем всегда порядочной физиономии трудно было сыскать. Он мало того, что любил жену до слабости, до жалости, — он просто поклонялся ей как идолу.

Он не стеснял ее ни в чем. Друзей и подруг у ней было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых — ветреница и сама была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, чем сколько можно предположить, судя по тому, что я теперь рассказал. Но из всех подруг своих она всех больше любила и отличала одну молодую даму, свою дальнюю родственницу, которая теперь тоже была в нашем обществе. Между ними была какая-то

нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким смиренным и с благородным чувством самооценки, любовно поднимается ему, почувствовав всё превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение — с другой, уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни всё ближе и ближе подходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между ними была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. М-ше М* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и бесположно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затененной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детский ясный облик, — образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебанная улыбка — всё это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. По красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, но крайней мере ничего, что есть большого и уязвленного в душе. Кто страдает, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в этом женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и рождаются на подвиг. . . М-ше М* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детские скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трещащее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите.

Я уже сказал, что нецохвальные притязания коварной блондинки стыдили меня, резали меня, являли меня до крови. Но этому была еще причина тайная, странная, глухая, которую я таил, за которую дрожал, как

кашей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, темном углу, куда не досягал инквизиторский, насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни, — словом, я был влюблен, то есть, положим, что я сказал вздор: этого быть не могло; но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно лицо удовлетворяло моим вниманием? Отчего только за нею я любил следить взглядом, хотя мне решительно не до того было тогда, чтоб выглядывать дам и знакомиться с ними? Случалось это всего чаще по вечерам, когда несчастье заперало всех в комнаты и когда я, одиноко притаюсь где-нибудь в углу залы, беспредметно глазел по сторонам, решительно не находя никакого другого занятия, потому что со мной, исключая моих гонителей, редко кто говорил, и было мне в такие вечера нестерпимо скучно. Тогда всматривался я в окружавшие меня лица, вслушивался в разговор, в котором часто не понимал ни слова, и вот в это-то время тихие взгляды, кроткая улыбка и прекрасное лицо т-те М* (потому что это была она), бог знает почему, удовлетворялись моим зачарованным вниманием, и уж не изглаживалось это странное, неопределенное, но непостижимо сладкое впечатление мое. Часто по целым часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я заучил каждый жест, каждое движение ее, вслушивался в каждую вибрацию густого, серебристого, но несколько заглушенного голоса и — странное дело! — из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любовничество. Похоже было на то, как будто я попытывался какой-нибудь тайны...

Всего мучительнее для меня были насмешки в присутствии т-те М*. Эти насмешки и комические гонения, по моим понятиям, даже унижали меня. И когда, случалось, раздавался общий смех на мой счет, в котором даже т-те М* иногда невольно принимала участие, тогда я, в отчаянии, вне себя от горя, вырывался от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал остальную часть дня, не смея показать своего лица в зале. Впрочем, я и сам еще не понимал ни своего стыда, ни волнения; весь процесс переживался во мне бессознательно. С т-те М* я почти не сказал еще и двух слов, да и, конечно, не решился бы на это. Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я от других на прогулке, ужасно устал и пробирался домой через сад. На одной скамье, в уединенной аллее, увидел я т-те М*. Она сидела одна-одинехонька, как будто нарочно выбрав такое уединенное место, склонив голову на грудь и машинально перебирая в руках платок. Она была в такой задумчивости, что и не слышала, как я с ней поравнялся.

Заметив меня, она быстро поднялась со скамьи, отвернулась и, я увидел, наскоро отерла глаза платком. Она плакала. Осушив глаза, она улыбнулась мне и пошла вместе со мною домой. Уж не помню, о чем мы с ней говорили; но она поминутно отсылала меня под разными предлогами: то просила сорвать ей цветок, то посмотреть, кто едет верхом по соседней аллее. И когда я отходил от нее, она тотчас же опять подносила платок к глазам своим и утирала непослушные слезы, которые никак не хотели покинуть ее, всё вновь и вновь накаливали в сердце и всё лились из ее бедных глаз. Я понимал, что, видно, я ей очень в тягость, когда она так часто меня отсылает, да и сама она уже видела, что я всё заметил, но только не могла удержаться, и это меня еще более за нее надрывало. Я залился на себя в эту минуту почти до отчаяния, ироклинал себя за неловкость и ненаходчивость и все-таки не знал, как ловче отстать

от нее, не выказав, что заметил ее горе, но шел рядом с нею, в грустном изумлении, даже в испуге, совсем растерявшись и решительно не находя ни одного слова для поддержки оскудевшего нашего разговора.

Эта встреча так поразила меня, что я весь вечер с жадным любопытством следил потихоньку за ш-ше М* и не спускал с нее глаз. Но случилось так, что она два раза застала меня врасплох среди моих наблюдений, и во второй раз, заметив меня, улыбнулась. Это была ее единственная улыбка за весь вечер. Грусть еще не сходила с лица ее, которое было теперь очень бледно. Всё время она тихо разговаривала с одной пожилой дамой, злой и сварливой старухой, которой никто не любил за шпунство и силтени, по которой все боялись, а потому и принуждены были всячески угождать ей, волей-неволей...

Часов в десять приехал муж ш-ше М*. До сих пор я наблюдал за ней очень пристально, не отрывая глаз от ее грустного лица; теперь же, при неожиданном входе мужа, я видел, как она вся вздрогнула и лицо ее, и без того уже бледное, сделалось вдруг белее платка. Это было так заметно, что и другие заметили: я расслышал в стороне отрывочный разговор, из которого кое-как догадался, что бедной ш-ше М* не совсем хорошо. Говорили, что муж ее ревнив, как аран, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноногий, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар зубами и с безукоризненной джептьменской осанкой. Называли его *умным человеком*. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лениности и ничего-неделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них, поэтому, «грустно смотреть». Это уж у них такая принятая пышная фраза, их *mot d'ordre*, их пароль и лозунг, фраза, которую мои сытые толстяки расточают везде поминутно, что уже давно начинает надоедать, как отъявленное тартюфство и пустое слово. Впрочем, некоторые из этих забавников, викак не могущих найти, что им делать, -- чего, впрочем, никогда и не искали они, -- именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то *очень глубокое*, но что именно -- об этом не сказал бы ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости. Эти господа тем и пробиваются на свете, что устремляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать и затверживать чужие ошибки и слабости, и так как в них доброго чувства ровнешенько настолько, сколько дано его в удел устрице, то им и не трудно, при таких предохранительных средствах, прожить с людьми довольно осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на обroke: что он у них как устрица, которую они берут про запас; что все, кроме них, дураки; что всяк похож на анельсин или на губку, которую они пет-пет да и выжмут, пока сок надобится; что они всему хозяева и что весь этот похвальный поринок вещей происходит именно оттого, что они такие умные и характерные люди. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных

Тартюфов и Фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть чтоб жить им да плутовать: до того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит: для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великодушное я. Вся природа, весь мир для них не более как одно великодушное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что всё на свете видит он в таком безобразном виде. На всё у него припасена готовая фраза, и, — что, однако ж, верх ловкости с их стороны, — самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронохать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъяснение своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рас-судком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую всё прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают всё, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Униженный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполненный, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.

Но, впрочем, м-г М* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиницком кругом него всегда собирався кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвести впечатление. Он овладел разговором; он был в ударе, весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя. Но м-ме М* всё время была как больная; лицо ее было такое грустное, что мне поминутно казалось, что вот-вот сейчас задрожат на ее длинных ресницах давешние слезы. Всё это, как я сказал, поразило и удивило меня чрезвычайно. Я ушел с чувством какого-то странного любовнытства, и всю ночь снился мне м-г М*, тогда как до тех пор я редко видывал безобразные сны.

На другой день, рано поутру, назвали меня на репетиции живых картин, в которых и у меня была роль. Живые картины, театр и потом бал — всё в один вечер, назначались не далее как дней через пять, по случаю домашнего праздника — дня рождения младшей дочери нашего хозяина. На праздник этот, почти импровизированный, приглашены были из Москвы и из окрестных дач еще человек сто гостей, так что много было и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции или, лучше сказать, просмотр костюмов назначены были не вовремя, поутру, потому что наш режиссер, известный художник Р*, приятель и гость нашего хозяина, по дружбе к нему согласившийся взять на себя сочинение и постановку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил теперь в город для закупок по бутафорской части и для окончательных заготовлений к празднику, так

что времени терять было некогда. Я участвовал в одной картине вдвоем с т-ме М*. Картина выражала сцену из средневековой жизни и называлась «Госпожа замка и ее паж».

Я почувствовал пензьяяснимое смущение, сошедшись с т-ме М* на репетиции. Мне так и казалось, что она тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения, догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове моей. К тому же мне всё казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее горю, так что она поневоле должна будет коситься на меня, как на неприятного свидетеля и непрошеного участника ее тайны. Но, слава богу, дело обошлось без больших хлопот: меня просто не заметили. Ей, кажется, было вовсе не до меня и не до репетиции: она была рассеянна, грустна и мрачно-задумчива: видно было, что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с моею ролью, я побежал переодеться и через десять минут вышел на террасу в сад. Почти в то же время из других дверей вышла и т-ме М*, и, как раз нам напротив, появился самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-то досужему cavalier servant. Встреча мужа и жены, очевидно, была неожиданна. М-ме М*, неизвестно почему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее нетерпеливом движении. Супруг, беспечно насматывавший арию и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инквизиторским взглядом.

— Вы в сад? — спросил он, заметив ombrelle и книгу в руках жены.

— Нет, в рощу, — отвечала она, слегка покраснев.

— Одни?

— С ним... — проговорила т-ме М*, указав на меня. — Я гуляю поутру одна, — прибавила она каким-то нервным, неопределенным голосом, точно таким, когда глут первый раз в жизни.

— Гм... А я только что проводил туда целую компанию. Там все собираются у цветочной беседки провожать П — го. Он едет, вы знаете... у него какая-то беда случилась там, в Одессе... Ваша кузина (он говорил о блондинке) и смеется, и чуть не плачет, всё разом, не разбираешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за что-то сердиты на П — го и потому не пошли его провожать. Конечно вздор?

— Она смеется, — отвечала т-ме М*, сходя со ступенек террасы.

— Так это ваш каждодневный cavalier servant? — прибавил м-г М*, скривив рот и наведя на меня свой лорнет.

— Паки! — кричал я, рассердившись за лорнет и насмешку, и захохотав ему прямо в лицо, разом перепрыгнул три ступеньки террасы...

— Счастливейший путь! — пробормотал м-г М* и пошел своею дорогой.

Конечно, я тотчас же подошел к т-ме М*, как только она указала на меня мужу, и глядел так, как будто она меня уже целый час назад пригласила и как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по утрам. Но я никак не мог разобрать: зачем она так смутилась, сконфузилась и что такое было у ней на уме, когда она решилась прибегнуть к своей маленькой лжи? Зачем она просто не сказала, что идет одна? Теперь я не знал, как и глядеть на нее; но, пораженный удивлением, я, однако ж, пренаивно начал поменьше заглядывать ей в лицо; но, так же как и час назад, на репетиции, она не примечала ни подглядывавший, ни немых вопросов моих. Всё та же мучительная забота, но еще явственнее, еще

глубже, чем тогда, отражалась в ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то, всё более и более ускоряя шаг, и с беспокойством заглядывала в каждую аллею, в каждую просеку рощи, оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то. Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была целая кавалькада наездниц и всадников, провожавших того Н—го, который так внезапно покидал наше общество.

Между дамами была и моя блондинка, про которую говорил м-г М*, рассказывая о слезах ее. Но, по своему обыкновению, она хохотала как ребенок и резко скакала на прекрасном гнедом коне. Норовившись с нами, Н—й снял шлему, но не остановился и не сказал с м-ме М* ни слова. Скоро вся ватага исчезла из глаз. Я взглянул на м-ме М* и чуть не вскрикнул от изумления: она стояла бледная как платок и крупные слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды встретились: м-ме М* вдруг покраснела, на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера, — это ясно дня, но куда мне деваться?

Вдруг м-ме М*, как будто догадавшись, развернула книгу, которая была у нее в руках, и, покрасневшись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала, как будто сейчас только спохватилась:

— Ах! это вторая часть, я ошиблась; пожалуйста, принеси мне первую.

Как не понять! моя роль кончилась, и нельзя было прогнать меня по более прямой дороге.

Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая часть преспокойно пролежала на столе это утро...

Но я был сам не свой; у меня билось сердце, как будто в непрерывном испуге. Всеми силами старался я как-нибудь не повстречать м-ме М*. Зато я с каким-то диким любопытством глядел на самодовольную особу м-г М*, как будто в нем теперь непременно должно было быть что-то особенное. Решительно не понимаю, что было в этом комическом любопытстве моем; помню только, что я был в каком-то странном удивлении от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но мой день только что начинался, и для меня он был обилён происшествиями.

Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село, на случившийся там деревенский праздник, и потому нужно было время, чтоб приготовиться. Я уж за три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза м-ме М*. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщинами такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту минуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно затем, чтоб заменить собой отбывшего Н—го, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что ж касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из ничего». Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво-наивны, так прощительно-неосторожны; она

с такою грациозною самонадеявностью была уверена во всеобщем восторге, что действительно всё время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковишку, ловилось, передавалось вкруговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своеобразном сумасбродстве, в самом упрямом никольничестве, доходившем чуть ли не до шутовства; их редко кто замечал; а если замечал, так не верил им, так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления.

Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, но крайней мере судя по той роли, которую играл в то же время муж ш-ше М*. Проказница решилась — и нужно прибавить: почти ко всеобщему удовольствию или, по крайней мере, к удовольствию всей молодежи — жестоко атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных, на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния.

Наверно не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что м-г М* нескоро положил оружие. Ему нужно было собрать всё присутствие духа, всё остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не быть разбитым в прах, наголову и не открыться решительным бесславию. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. Но крайней мере сегодня непохоже было для него на вчера. Приметно было, что ш-ше М* несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому в свою очередь непременно хотелось нарядить ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и должно полагать, в костюм Синей бороды, судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой сшибке.

Это случилось вдруг, самым смешным образом, совсем неожиданно, и, как нарочно, в эту минуту я стоял на виду, не подозревая ала и даже забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг и был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник м-г М*, как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тирапка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства и что не далее как, например, сегодня в лесу она видела...

Но она не успела договорить, я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно расчитана, так измышленно подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обставлена, что целый взрыв ничем неудержимого, всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпадала самая досадная роль, — однако ж был до того смущен, раздражен и испуган, что, полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался чрез два ряда кресел, ступил вперед и,

обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом:

— И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... говорить такую худую... неправду?!.. вам, точно маленькой... при всех мужчинах... Что они скажут?... вы — такая большая... замужняя!..

Но я не дождался, — раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий фурор. Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как будто выступил защищать m-г М*, — всё это произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно... Я оторонел, почти обезумев от ужаса и, сгорев как порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбыл в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх, в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса; они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту; клялись, что не будет мне ни малейшего ала, а только заведуют они меня всего в прах. Но... что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за мою дверь, спрятав в подушки лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как одиннадцатилетний.

Ну, что ж теперь делать? всё открыто, всё обнаружилось, всё, что я так ревниво берегал и таил... На меня падет вечный стыд и позор!.. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился и что хотел бы я скрыть; но ведь, однако ж, я страшился чего-то, за обнаружение этого *чего-то* я трепетал до сих пор как листочек. Одного только я не знал до этой минуты, что оно такое: годится оно или не годится, славно или позорно, похвально или не похвально? Теперь же, в мучениях и насильной тоске, узнал, что оно *смешно* и *стыдно*! Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и застудился за мне; и не мог ни противостать этому приговору, ни даже обдумать его хорошенько: я был ошуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. Я был раздражен; во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду; и всё это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуте первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство, был так рано обнажен и поруган первый, благоуханный, девственный стыд и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не предчувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел и как-то пугался до сих пор разбирать. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушки лицо; и жар и дрожь обливала меня попеременно. Меня мучили два вопроса: что такое видела и что именно могла увидеть негодная блондинка сегодня в роще между мною и m-не М*? И, наконец, второй вопрос: как, какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо m-не М* и не погибнуть в ту же минуту, на том же месте от стыда и отчаяния.

Необыкновенный шум на дворе вызвал наконец меня из полубеспамья, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжало; несколько всадников уже сидели на конях; другие гости размещались по экипажам... Тут вспомнил я о предстоявшей поездке, и вот, мало-помалу, беспокойство начало проникать в мое сердце; я пристально начал выглядывать на дворе своего клеппера; но клеппера не было, — стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем...

Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже: все было разобрано, занято, и я принужден уступить другим.

Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на рядных наездниц, под которыми гарцевали нетерпеливые кони.

Один из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбась от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении.

В самом деле, случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того что наехали новые гости и разобрали все места и всех лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой клеппер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства: открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтоб отратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности: рекомендовать своего бешеного, невезженного жеребца, прибавив, для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется на него покупатель. Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно, да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не садился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не задыхавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет да и убьет человека ни за что ни про что. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже говорил с хозяином и вожатыми: он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз, и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-точь как иной неисправимый повеса гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость.

Этот смельчак наконец показалея. Совестясь, что заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки, он шел вперед не глядя, спускаясь по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было

руку, чтоб схватить за холку заждавшегося коня, но вдруг был озадачен бешеным векоком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала как лист, хрипела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унести вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту он стоял совсем озадаченный; потом, слегка покраснев от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и взглядел на перенугавшихся дам.

— Конь очень хороший! — проговорил он как бы про себя, — и, судя по всему, на нем должно быть, очень приятно ездить, но... но, знаете что? Ведь я-то не поеду. — заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой, простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его.

— И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам, — отвечал обрадованный владетель недоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя, — именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким аверем имеете дело, — прибавил он с достоинством. — Поверите ли мне, я, двадцать три года прослуживший в гусарах, уже три раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого... дармоеда. Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ; видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец и сидит теперь сиднем в селе Карачарове да ждет, чтоб у тебя выпали зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пугать! Напрасно только выводили. — заключил он, самодовольно потирая руки.

Нужно заметить, что Танкред не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел; кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоеда, который выезжал разве только на своей красоте... Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкред не уронил своего достоинства, спенил еще одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолковые лавры.

— Как, вы не едете? — закричала блондинка, которой непременно нужно было, чтоб ее *cavalier servant* на этот раз был при ней. — Неужели вы трусите?

— Ей-богу же так! — отвечал молодой человек.

— И вы говорите серьезно?

— Послушайте, неужели ж вам хочется, чтоб я сломал себе шею?

— Так садитесь же скорее на мою лошадь: не бойтесь, она пресмиренная. Мы не задержим; вмиг переседлают! Я попробую взять вашу; не может быть, чтоб Танкред всегда был такой неучтивый.

Сказано — сделано! Шалунья выпрыгнула на седла и договорила последнюю фразу, уже остановившись перед нами.

— Плохо ж вы знаете Танкрета, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом! Да и вас я не пузцу сломать себе шею; это, право, было бы жалко! — проговорил наш хозяин, аффектируя, в эту минуту внутреннего довольства, по своей всегдашней привычке, и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и особенно должно было нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.

— Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать? тебе же так хоте-

лось ехать, — сказала храбрый наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкреда — собственно для того, чтоб не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня, и не оставить меня без колочего слова, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся.

— Ты, верно, не таков, как... ну, да что говорить, известный герой и постыдишься струсить; особенно когда на вас будут смотреть, прекрасный паж, — прибавила она, бегло взглянув на m-me M*, экипаж которой был ближе всех от крыльца.

Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкреда... Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света неувидел, когда поймал ее взгляд на m-me M*. Вмиг в голове у меня загорелась идея... да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера, и я вдруг теперь возмущился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось сразить наповал всех врагов моих и отметить им за всё и при всех, показав теперь, каков я человек: или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, палатины, герои, прекрасные дамы, слава и победители, послышались трубы герольдов, звуки шпага, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы, — уж не знаю, случился ли тогда весь этот вздор в голове моей или, толковее, предчувствие этого еще грядущего и неизбежного вадора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда.

— А вы думаете, что я испугаюсь? — вскрикнул я дерзко и гордо, неважидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. — А вот увидите! — И, схватившись за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде чем успели сделать малейшее движение, чтоб удержать меня; но в этот миг Танкред взвился на дыбы, вметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолбеневших конюхов и полетел как вихрь, только все ахнули да вскрикнули.

Уж бог знает, как удалось мне занести другую ногу на всем лету; не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик пятидесяти голосов, и этот крик отдался в моем замиравшем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское.

Впрочем, всё мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг, не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел: меня учили. Но мой клеппер походил скорее на овцу, чем на верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня; но, проскакав шагов пятьдесят, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шархатнулся назад. Он повернулся на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача: каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, са-

жени на три, и не разбился вдребезги, а Танкред от такого крутого поворота не спелел себе ног. Он бросился назад к воротам, дробно мотая головой, припадая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как поало на воздух и с каждым прыжком стряся меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение — и я бы слетел; я уже падал; но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле; двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца.

Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымящихся ноздрей, весь дрожа как лист мелкой дрожью и словно остолебенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смятения, удивления, испуга.

В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом m-me M*, встревоженной, побледневшей, и — я не могу забыть этого мгновения — миг всё лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось как огонь; я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к m-me M*, и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, покраснела от какого-то противовольного и наивного чувства и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом...

Всё это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно; но в это мгновение одна пренаивная и неожиданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на m-me M*. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде; теперь же, когда всё было кончено и особенно когда она поймала, вместе с другими, мой взгляд, брошенный на m-me M*, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению, по романтическому настроению своей легкодумной головки, какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, — теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего «рыцарства», что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие хрустальные слезинки, и серьезным, важным голосом, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «*Mais c'est très sérieux, messieurs, ne riez pas!*» — не замечая того, что все стоят перед нею как завороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Всё это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, эта простодушная наивность, эти не подозреваемые до сих пор сердечные слезы, накинённые в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто электризированные ее взглядом, скорым, огненным



словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел как тыква, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что «к стыду своему», чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну, уж разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой.

— Делорж! Тогенбург! — раздавалось кругом.

Послышались рукоплескания.

— Ай да грядущее поколение! — прибавил хозяин.

— Но он поедет, он непременно поедет с нами! — закричала красавица. — Мы найдем и должны найти ему место. Он сидит рядом со мною, ко мне на колени... иль нет, нет! я ошиблась!... — поправилась она, захотав и будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча, она нежно гладила мою руку, всеми силами стараясь меня заласкать, чтоб я не обиделся.

— Непременно! непременно! — подхватили несколько голосов. — Он должен ехать, он завоевал себе место.

И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место, на что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь и нас всех перемочит.

И она точно напороочила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в десятом часу, в сырое, последождное время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, м-ме М* подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она вяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтоб я не простудил горла. Она так торопилась, что и даже не успел поблагодарить ее.

Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной, вместе с блондинкой и с бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу насадника тем, что побоялся сесть на Танкреда. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после всех моих приключений, мне было как будто чего-то совестно; мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел до ушей.

— Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать платок у себя, — сказал молодой человек засмеявшись, — по глазам видно, что ему жаль расстаться с вашим платком.

— Именно, именно так! — подхватила блондинка. — Экой! ах!... — проговорила она, с приметной досадой и покачав головой, но остановилась вовремя перед серьезным взглядом м-ме М*, которой не хотелось заводить далеко шутки.

Я поскорее отошел.

— Ну, какой же ты! — заговорила школьница, нагнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе руки. — Да ты бы просто не отдавал ко-

сынки, если тебе так хотелось иметь ее. Сказал бы, что где-нибудь положил, и дело с концом. Какой же ты! этого не умел сделать! Экой смешной!

И тут она слегка ударила меня пальцем по подбородку, засмеявшись тому, что я покраснел как мак:

— Ведь я твой друг теперь, — так ли? Кончена ли наша вражда, а? да или нет?

Я засмеялся и молча пожал ее пальчики.

— Ну, то-то же!.. Отчего ты так теперь бледен и дрожишь? У тебя озноб?

— Да, я нездоров.

— Ах, бедняжка! это у него от сильных впечатлений! Знаешь что? иди-ка лучше спать, не дожидаясь ужина, и за ночь пройдет. Пойдем.

Она отвела меня вверх, и казалось, уходом за мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама, когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен целым днем, посадкой, лихорадкой; но, прощаясь с нею, и крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга, и уж тут все впечатления разом прихлынули к моему ослабевшему сердцу: я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою впечатлительность, и, кажется, моя шалунья сама была немного тронута...

— Ты предобрый мальчик, — прошептала она, смотря на меня тихими глазами, — пожалуйста же, не сердись на меня, а? не будешь?

Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями.

Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели, совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистый запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мгlistую густоту листьев. Было прекрасное утро.

Незаметно пробирался всё далее и далее, я вышел наконец на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым замахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава густыми, жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах от меня в двадцати, в просеке, которая пролегла от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, слышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно шекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении: в глазах моих мелькнуло белое знакомое платье и тихий женский голос отдался в моем сердце как музыка. Это была m-me M*.

Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Н—го, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал м-г М*. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России, а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с м-ме М*.

Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видел ее, и на щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Кажется, они торопились. Наконец он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его м-ме М*. обнял ее одною рукою, как и прежде, не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня как стрела. М-ме М* несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу.

Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный; мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но тренеща, чтоб она меня не заметила. Наконец она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я; но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, — тот самый, который десять минут назад был вручен м-ме М*.

Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой подписи; на взгляд — небольшой, но тугий и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.

Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснилась бы вся эта тайна. Может быть, в нем сказано было то, чего не надеялся высказать Н—ой за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади... Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, — бог знает...

Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что м-ме М* заметит потерю, воротится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять м-ме М*. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее; она шла прямо домой, скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать? Это значило сказать, что я знаю всё, видел всё. Я заменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня?.. Я всё ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, воротится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный, бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет! Мы уже подходили к дому: ее уже заметили...

В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтоб не видели меня с м-ме М*, и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную, отчаян-

ную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении ее. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения: она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома, — да, это так, и она в этом уверена!

Кто-то, а затем и другие заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования; она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как и тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб m-me M* меня заметила. Мне хотелось обидеть, усюконтить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-нибудь мелким, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.

И видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнюю, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. И — ой уезжал; он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, — кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту: некая была большая страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать, как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено всё; пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи, его могут вскрыть, а тогда... что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбающиеся, льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах, а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее жизни... Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Могу только подозревать и предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но, что бы ни заключалось в ее тайне, — теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить.

Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все радостно засуетилось; со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. M-me M* отказалась от поездки, сознавшись наконец, что она нездорова. Но, слава богу, все отправилось, все торжилось, и докучать сетованиями, расприсамами и советами было некогда. Немногие остались дома. Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна... со мною... Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливей! Я покраснел от радости; через минуту мы были в дороге.

Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рожи, инстинктивно припоминая свой прежний

путь, неподвижно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли, ница на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я иду вместе с нею.

Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, т-те М* вдруг остановилась и слабым, замравившим от тоски голосом сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту; улыбка отчаяния показалась на губах ее, и, вся обессиленная, измученная, решившись на всё, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, и этот раз позабыв даже предупредить меня. . .

Я разрываюсь от тоски и не знал, что делать.

Мы пошли или, лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого слышал, час назад, топот коны и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами.) М-те М* села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилвавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взойшло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко: их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползали бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовоинной испариной. Кругом стоял немолкаемый концерт тех, которые «не жнут и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курьсь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! я блаженна и счастлива! . . .»

Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни: на ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, вытравленные острою болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замравившее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое.

Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено; и воскрес.

— Хотите, я вам букет нарву! — сказал я таким радостным голосом, что т-те М* вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня.

— Принеси, — проговорила она наконец слабым голосом, чуть-чуть улыбувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу.

— А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет цветов! — закричал я, весело пускаясь в поход.

Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату; но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с созревающей рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, недалеко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал наполняться. Далее, в поле, нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными, желтыми лилиями сбегал я на самое

прибрежье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых лапчатых листьев клеона и обернуть ими букет, я случайно набред на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок, еще весь облепленный блестящими каплями росы. Букет был готов. Я перевязал его длинной, тонкой травой, которую свил в бечеву, и вовнутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами. — Но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарит мой букет.

Я понес его к м-ше М*.

Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду; я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе, я двинул его еще плотнее в цветы и, наконец уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко вовнутрь букета, что уже ничего не было приметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их. Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытии. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее, — думал я, — только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал...

Прошло минут десять; мне показалось, что она всё больше и больше бледнела... Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь.

Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она поужжила сперва над моей головою и потом подошла к м-ше М*. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела, будто нарочно, становилась всё неотвязливее. Наконец м-ше М* схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время м-ше М* смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам своим... Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворись спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого деревенского мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза; минуты две-три. Наконец я осмелился их открыть. М-ше М* жадно читала письмо, и, по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезившемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что разнесло как дым вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство прилепилось к моему сердцу, тяжело было мне притворяться...

Никогда не забуду я этой минуты!

Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:

— Madame M*! Natalie! Natalie!

М-ше М* не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задущало меня своими смелыми ударами. Горячее дыхание ее налило мои щеки; она близко-

близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди. И два раза она поцеловала ее.

— Natalie! Natalie! где ты? — послышалось снова, уже очень близко от нас.

— Сейчас! — проговорила т-те М* своим густым, серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее, — сейчас!

Но в этот миг сердце наконец изменило мне и, казалось, высало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упала вчерашний газовый платочек ее, — как будто она хотела закрыть меня им от солнца. Мгновение спустя ее уже не было. Я слышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один.

Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга; несколько минут я был как безумный! . . . Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я, бессознательно и неподвижно, перед собою, на окрестные холмы, нестремные нивами, на реку, извилисто обтекавшую их и далеко, как только мог следить глаз, вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей, залитой светом, дали, на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественною тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, и я вздохнул свободнее. . . Но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания. . . И вдруг грудь моя заколебалась, запыла, словно от чего-то пропавшего ее, и слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей. . . Первое детство мое кончилось с этим мгновением.

Когда, через два часа, я воротился домой, то не нашел уже т-те М*: она уехала с мужем в Москву, по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ ДОСТОЕВСКОГО

«Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказывал, недостойно называться человеческим».

Английский поэт У. Оден.

Петербург. Май 1845 года. Белая ночь, «чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель». На втором этаже небольшого дома на углу Владимирского проспекта и Графского переулка у окна сидит молодой человек. У него крупные черты лица, большой широкий лоб, а над тонкими губами короткие, редкие светло-каштановые усы. В серых, исподлобья хмурищихся глазах — озабоченность.

Совсем недавно он закончил рукопись своего первого литературного произведения — романа «Бедные люди», а вчера дал почитать ее молодому литератору, товарищу по Инженерному училищу Дмитрию Григоровичу, с которым они вместе снимают эту квартиру.

«Понравится ли Григоровичу? Поймет ли он, сколько здесь искреннего чувства и напряженной духовной работы?»

Шум около входных дверей, и на пороге комнаты появляется Дмитрий Григорович вместе с незнакомым молодым человеком. Это поэт и издатель Николай Некрасов.

Григорович и Некрасов, не отрываясь, прочли вслух всю рукопись, в четыре часа ночи прибежали к автору и в совершенном восторге, чуть не плача, бросились его обнимать.

Через много лет Достоевский вспоминал об этом: «Они [Григорович и Некрасов] накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читал вслух и чередуясь, когда один уставал. . . Когда они кончили (семь печатных листов), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!»

После ухода Григоровича и Некрасова Достоевский не мог заснуть. «Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорогое, помню ясно».

Некрасов передал рукопись Белинскому, который пожелал познакомиться с начинающим писателем. Встреча состоялась. Белинский «заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ли сами-то, — повторял он мне [Достоевскому] несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали! . . . Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы, в ваши двадцать лет, уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать, и когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог

пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки. — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! . . . Вам правда открыта и возвещана, как художнику, досталась, как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!»

Достоевский уходит от Беллинского «в упоение», «Это была самая похитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь мне вспоминаю ее каждый раз, с восторгом».

Первое произведение Достоевского было событием в истории русской литературы.

В «Бедных людях» Достоевский развивает излюбленную тему русской литературы сороковых годов XIX века — тему маленького, бессильного, забытого человека, начатую А. С. Пушкиным в его «Станционном смотрителе» и достигшую своей вершины в знаменитой «Шинели» П. В. Гоголя. В повести изображает бедного чиновника Акакия Акакиевича, тупого, забытого и бессловесного. Ценой нечеловеческих лишений он собирает деньги на покупку новой шинели. Но ее у него крадут, и он умирает от отчаяния в тюрьме. Герой «Бедных людей» Макар Девушкин тоже бедный и жалкий чиновник, также всю жизнь переписывает бумаги, над ним издеваются сослуживцы, его распекает начальство. Даже наружностью, платьем он похож на героя «Шинели». Достоевский оказался внимательным читателем гоголевской повести, но вместе с тем ученик бунтует против своего учителя.

Л. Н. Толстой любил повторить слова художника К. Брюллова: «Искусство только там и начинается, где начинается „чуть-чуть“». Казалось бы, молодой Достоевский лишь «чуть-чуть» заменил «Шинель» Гоголя: вместо венца (шинели) у Достоевского — живое лицо (Варенька); тупое существо, высший идеал которого теневая шинель, Акакий Акакиевич, заменен в «Бедных людях» трогательным своей привязанностью, бескорыстной любовью к Вареньке, Макаром Алексеевичем, но это-то и было простое и генеральное изменение. Процесс пробуждения личности в маленьком человеке, глубокое проникновение во внутренний мир этого человека, так поразившее Беллинского, — вот то новое, что внес Достоевский в свой первый роман. Он проследил, как униженное и оскорбленное существо начинает сознать в себе человека и даже делает робкую попытку бунтовать против разделения людей на бедных и богатых. Встреча с Варенькой и явилась для Макара Девушкина решающим толчком для проявления социального протеста.

На это обратил внимание П. А. Добролюбов в специальной статье о творчестве Достоевского «Забитые люди». «Себя, положим, Макар Алексеич обрек на горькую долю и о себе не жалеет. — писал критик. — . . . Но вот его чувство обращается на чистое, нежное существо, которое скоро делается ему всего дороже и жизни, на Вареньку: он уже предается сожалению о ее несчастиях, находит их незаслуженными, заглядывает в кареты и видит, что там барыни сидят все гораздо хуже Вареньки; ему уже приходит в голову мысль о несправедливости судьбы, ему становится как-то вридебным весь этот люд, развезающийся в каретах и перепаривающий из одного неаполитанского магазина в другой, словом, — скрытая боль, накопившая в груди, подымается наружу и дает себя чувствовать».

Достоевского, в отличие от Гоголя, интересует не только «бедность» бедного человека, но и искаженное под влиянием бедности сознание бедного человека. Критик Валерий Майков, стремясь определить своеобразие произведений Достоевского 40-х годов, отмечал тогда же, что «. . . Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический». С этим определением В. Майкова можно сопоставить слова самого Достоевского в письме его к брату от 1 февраля 1846 года: «Все наши и даже Беллинский пишут, что и далеко ушел от Гоголя. Во мне находят новую оригинальную струю, состоящую в том, что и действую анализом, а не синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю цельное».

Проблема сознания бедного человека неотступно преследует молодого Достоевского. Он исследует опасность, грозившие «слабому сердцу», пристально «всматривается» в человека, исследует человека, разгадывает его. Еще восемнадцатилетним юношей Достоевский написал пророческие слова: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время: я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Вася Шумков, герой повести «Слабое сердце», влюблен в преледную девушку, которая согласна выйти за него замуж. У него есть преданный друг Аркадий. Кажется бы, все хорошо. Но Вася оказался «неблагодарным» — он не сумел вовремя перенести порученное ему дело. Убитый «совестью» Вася не выдерживает и сходит с ума.

Юлиан Мастакович, его начальник и благодетель, поручает ему перенести объемистое дело. Юлиан Мастакович «дарит» Васе Шумкову пятьдесят рублей. Вася просто раздавлен благодарностью: он забывает, что получил деньги за четыре месяца бесплатной работы. «У меня слезы полились», — говорит Вася своему другу Аркадию. Юлиана Мастаковича Вася считает «великим человеком», почти отцом родным и умиляется его добротой и щедростью, его великодушным сердцем.

На первый взгляд, простой сюжет, но писатель вкладывает в него сложное психологическое содержание. Достоевский показывает, как постепенно чувство вины переходит в сознание преступности: на заботу своего благодетеля Вася ответил черной неблагодарностью — не перенесл вовремя бумагу. Юлиан Мастакович швыряет: «Как же это, как же это с ним сделалось? Отчего же он с ума сошел?» — «От бла-благо-дарности! — мог только выговорить Аркадий Иванович». После этой проблемы «слабого сердца», Достоевский делает важное психологическое открытие: оказывается, не только жизненная катастрофа, как это было с Макаром Девушкиным, но и внезапное счастье и удача могут вызвать у бедного, социально-униженного человека чувство вины за наличие в мире несправедливости.

Печальна судьба и чиновника Полузюкова. Герой рассказа «Полузюков» «добывал хлеб тем, что был всеветным шутом». Но он не был «шутом по профессии». «Мне казалось, — пишет автор, — что все его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод». Полузюков терпел насмешки, но страдал от мысли, что слушатели смеются не над его рассказом, а над ним самим, над всем существом его. Полузюков жил подачками, однако «заподличаться» до конца не мог. Сознание собственного достоинства боролось в нем с чувством собственного ничтожества. «Это был честнейший и благороднейший человек в свете, который мог сделать подлость «бескорыстно, лишь бы угодить ближнему».

Полузюков — комический вариант Васи Шумкова, он тоже добрый и благородный человек, тоже горит желанием всех осчастливить, он такой же чувствительный утонист.

Но из этого прекрасного, великодушного человека выходит не благодетель человечества, а «самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик». Достоевский продолжает углубленное исследование всех опасностей, грозящих в условиях социального гнета мечтательному человеколюбию, «слабому сердцу», и причин, по которым Вася Шумков становится сумасшедшим, а Полузюков — шутом гороховым.

Почему же так печальна судьба «доброе сердце», «слабого сердца»? В 1847—1848 годах, когда создавались «Слабое сердце» и «Полузюков», Достоевский посещал кружок Петрашевского. На собраниях кружка петрашевцы знакомились с западно-европейскими общественно-экономическими теориями социалистов-утопистов, с запрещенными литературными произведениями, с трудами французских энциклопедистов, в горячих спорах и беседах обменивались мнениями, мечтали о справедливом общественном строе и освобождении человеческой личности от деспотизма и произвола.

Именно в кружке петрашевцев определились взгляды Достоевского как социалиста-утописта, его убежденность в необходимости коренных изменений общественного строя России, в, прежде всего, отмены крепостного права.

15 апреля 1849 года Достоевский прочитал на собрании у Петрашевского запрещенное «Письмо Белинского к Гоголю». Исполненное «дерзкого высокоумства», как было сказано в «донесении», резко толкующее о «православной религии, о судопроизводстве, законах и властях», это письмо было с одобрением встречено посетителями кружка Петрашевского.

Достоевский не только читал на собраниях кружка запрещенное «Письмо Белинского к Гоголю», но, как вспоминал сам позднее, «в последний год жизни критика, страстно приняв... все учение его». И хотя, как и многие из петрашевцев, Достоевский не был сторонником революционного пути развития России, однако он поддерживал идею создания петрашевцами тайной типографии для печатания и распространения революционно-пропагандистской литературы.

Участие Достоевского в собраниях петрашевцев, его увлечение утопическим социализмом отразилось на его произведениях конца сороковых годов. Печать этого увлечения лежит и на образах Васи Шумкова и Полазукова. Оба они утописты, мечтатели. Аркадий говорит Васе: «Ты добрый, нежный такой... кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно!» Мечтателю все люди кажутся прекрасными, благородными, добрыми, но «доброе сердце» гибнет от «удинения», оттого, что его не понимают.

В 1847 году Достоевский пишет ряд очерков в газете «Санкт-Петербургские ведомости» под общим заглавием «Петербургская летопись». Он делится своими наблюдениями над современными нравами, отношениями людей, мнениями о литературных новинках или событиях. Из этих очерков писатель черпает содержание многих своих произведений конца 40-х годов, здесь же Достоевский отвечает на вопрос: почему так печальна судьба человека с добрым, «слабым сердцем»? «Только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении, может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце!»

Итак, «грех мечтательства» — в уединении. Но как ни печальна судьба мечтателя, сам факт его появления в социально-несправедливом обществе — залог преобразования этого общества. Мечтатель — новый человек в понимании Достоевского в 40-е годы — это своеобразный протест против действительности. «Есть Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странное уголки, — говорит герой «Белых ночей» Достоевского. — В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, иное, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом... В этих углах проживают странное люди — мечтатели».

Образ мечтателя является одним из центральных в творчестве молодого Достоевского. И позднее, в 70-е годы, Достоевский собирался писать большой роман под названием «Мечтатель». Тема эта всю жизнь волновала Достоевского. Образ мечтателя в «Белых ночах» автобиографичен: за ним стоит сам Достоевский. В одной из своих работ о творчестве писателя А. В. Луначарский справедливо отмечает: «Достоевский тесно связан со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах».

В молодости писатель и сам увлекался романтической литературой, дружил с поэтом-мечтателем И. И. Шилловским. Вспоминая об этом, Достоевский писал в 1861 году: «... Бегу на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упинаясь, и страдаю... и люблю... А настоящую Амалию я... проглядел; она жила со мною под боком, тут же за ширмами».

Неудовлетворенность действительностью сближает молодого Достоевского и его героя-мечтателя. И если с одной стороны Достоевский утверждает, что такая призрачная жизнь мечтателя есть грех, так как она уводит от настоящей действительности, то с другой — подчеркивает творческую ценность этой искренней и чистой жизни, ее влияние на вдохновение художника: «Он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому производству».

В рассказе мечтателя о ночных грезах слышится голос самого писателя.

Вот почему «Белые ночи» написаны от первого лица, в форме исповеди, и тема мечтательства представлена в этой повести в таком волшебном поэтическом блеске, в таком очаровании молодости.

Это вдохновение художника покупается дорогой ценой, отрывом от действительности, духовным одиночеством. Мечтатель свободно парит в мире своей фантазии и не умеет ступить ною земле. В письме к брату в 1847 году Достоевский точно формулирует «идею» мечтателя: «Видишь ли, чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. В нем должно быть уравновешено с в и у т р е н и м и. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни».

Здесь Достоевский сближается с Белинским, который еще в 1841 году писал: «Обитатели мир внутренний, но без осуществлений волею он есть мир пустоты, миражей, мечтаний». В одном из писем Белинский указал черты «лининого человека» в мечтателе, его невозможность приспособиться к действительности: «Страстные души в таком положении делают добычею собственной фантазии и слятся создать для себя действительности вне действительности. Чувство делается альфюю и омегою жизни, а д е в а и д е а л ь н а я и н е з е м л я становится Дульцинеею этих Дон-Кихотов».

Достоевский также рассматривает мечтателя как разновидность типа «лининого человека», а его трагедию — как трагедию вынужденного бездействия. «Многие ли наконец нашли свою деятельность? — пишет Достоевский в очерках «Петербургской летописи». — ... В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — м е ч т а т е л е м».

Мечтательство — болезнь николаевской эпохи, подавлявшей в людях лучшие стремления, не дававшей им претвориться в жизнь, гасившей благородные порывы души. «Дайте такому человеку сферу свойственной его способностям деятельности, и он переродится», — отмечал Белинский, — будет мужчиною и человеком, но эта сфера... да вы понимаете что ее негде взять».

Отчаяние, разочарование, ощущение, вызванные поражением декабристов, еще не прошли полностью, а силы, определившие подъем освободительного движения в шестидесятых годах, еще не созрели. Склонность к мечтам о высоком, ярком, необычном была присуща в молодости многим современникам Достоевского, впоследствии ставшим истрашевцами. В царство волшебных снов их привлекало героическое, великое, то, чего не было в тусклой и прозаической действительности. Но Достоевский и истрашевы сумели отказаться от неясных и распыляемых мечтаний в пользу демократических идеалов, сумели, по выражению известного поэта и критика начала нашего века Ипполития Анненского, бесстрашно погрузиться в самую гущу жизни и тем убить в себе «бледного мечтателя», причушегося в свою раковину от малейшего соприкосновения с неуловимой действительностью. Герой же «Белых ночей» не порвал с туманными грезами, хотя и осознавал пагубность увлечения ими.

«Белые ночи» — повесть об одиночестве человека, не нашедшего себя в несправедливом мире, о несостоявшемся счастье. В «Белых ночах» есть тема отнятой любви и бесплодной мечты, но это не главное. Для Достоевского важен характер мечты, оказывающий влияние на человеческую душу. Герою «Белых ночей» неизвестны эгоистические побуждения. Он готов всем пожертвовать для другого и стремится устроить счастье Настеньки, ни на минуту не задумываясь над тем, что любовь к нему Настеньки — единственное, что он может получить от жизни. Любовь мечтателя к Настеньке озарена нежным светом петербургских белых ночей. Эта любовь бескорытна, доверчива и так же чиста, как белые

ночи. Мечтатель благовоет перед святыней любви, душа его переполнена ею. Любовь к Настеньке спасает его от «греха» мечтательства и утоляет жажду настоящей жизни.

Но участь мечтателя печальна. Он снова одинок. Однако беззащитного трагизма здесь нет. Мечтатель благословляет своего доброго гения: «Да будет ясно твоё небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоё, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которые ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!»

«Белые ночи» — своеобразная идиллия. Все, казалось бы, неразрешимые вопросы, разрешаются легко, по договору. Это утопия о людях, о том, какими они могли бы быть, если бы обнажили все свои лучшие чувства. Это, скорее, мечта о другой, красивой жизни, чем отражение действительности. В любви Настеньки к двоим нет греховности, это — братская любовь. Достоевский извлёк героев из повседневности и поместил в утопическую среду прозрачных и призрачных белых ночей, где есть свои горести и несчастья, но где все чисто и благородно, где нет и тени зла. «О боже! если б я могла любить вас обоих разом! — пишет Настенька в прощальном письме. — О, если б вы были он!.. Вы будете вечно другом, братом моим».

Счастье — это не жизненная удача, а простое, искреннее проявление жизни, пусть даже печальное или трагическое, — вот мысль Достоевского. Но писатель, увлекшийся утопическим социализмом в период создания «Белых ночей», проникает тему человеческого счастья идеей всеобщего братства, мечтой о новых людях и новой жизни. «Послушайте. — говорит Настенька, — зачем мы все не так, как бы братья с братьями?»

Об этом же мечтает и Вася Шушков. «Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! — обращается к нему Аркадий. — Ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься... Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделалось разом счастливыми. Тебе было, тяжело одному быть счастливым!»

Но если невозможно, чтобы сразу «все враги помирились», чтобы «все сделалось разом счастливыми», то и Вася не может быть счастливым: «Аркаша! Я недостойн этого счастья!.. Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я!..» И эта мука о всех сводит Васю с ума. Ему мало личного счастья, ему необходимо всемирное счастье, рай на земле. На меньшее мечтатель никогда не согласится, так уж он устроен.

Не согласен на меньшее и сам Достоевский. Мечта о всеобщем счастье — самая дорогая мечта писателя с юношеских лет и до конца дней. Она поддерживала Достоевского в самые трудные минуты его жизни. Находясь в 1849 году в заключении в Петропавловской крепости по делу петрашевцев (причем следственная комиссия отнесла писателя к числу «наиболее опасных» преступников), не зная, что его ждет — смерть или каторга, Достоевский создает одно из самых светлых и радостных своих произведений — «Маленький герой».

Это повесть о нежной и впечатлительной душе подростка, о его полудетской, полувзрослой преданности и любви.

Писатель тонко анализирует чувство первой любви в подростковом, его стыдливость и гордость, застенчивость и смелость. Мальчик влюбляется в прекрасную даму и становится ее рыцарем. Как истинный рыцарь, он верно служит избраннице своего сердца и, чтобы заслужить ее благосклонность, совершает подвиг: скачет на необъезженной лошади. И больше того, он подлинно «рыцарским жестом» спасает свою даму от позора и гибели: возвращает ей в букете цветов найденное им письмо. Как и мечтатель «Белых ночей», одиннадцатилетний рыцарь бескорыстен в любви и стремится устроить чужое счастье. Первая детская любовь заканчивается «откровением сердца».

Но сердце, открывающееся для чистой любви, открывается и для всеобщего счастья, для всего прекрасного в мире: «Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем... Кругом стоял неуловимый концерт тех, которые «не живут и не сеют», а своеобразны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя

бляника, курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! и блаженна и счастлива!...»

В повести, написанной в тюрьме, мы находим то, что ночи отсутствует и других произведений Достоевского: небо, солнце, свет. Пейзаж у Достоевского обычно не имеет самостоятельного существования, он неразрывно связан с его героями, составляет с ними единое целое. Уже в творчестве Достоевского 40-х годов мир, окружающий человека, всегда дается как часть души человека и в большой степени определяет человеческие поступки.

Вензанный конец «Слабого сердца». «Были уже поздние сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подошёл к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним нуруром кровавой зари, догорающей в мглном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и все необъятная, вспухшая от замершего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мирадами искр илгистого инея... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жилищами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами виллх или разродоченными палатами — отрадой сильных мира сего, и этот сумеречный час подходит к фантастическую, воднебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезает и искруется паром к темно-синему небу».

В этих строчках повести «Слабое сердце» уже дана та тайна Петербурга, которую потом пытаются разгадать герои написанных после возвращения с каторги романов Достоевского.

Все описание природы у Достоевского связано с человеком. Природа и люди сливаются в одном настроении. «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель! Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это начало «Белых ночей». А вот конец: «Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и слышно стучал в мои стекла; в комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам».

Уже в произведениях Достоевского 40-х годов зарождается тот особый, ни с чем не сравнимый в мировой литературе ритм, который как бы преобладает врези и пространство. Вот почему у Достоевского прежде всего поражает необычная быстрота действия. «Слабое сердце» занимает два дня, «Белые ночи» — четыре ночи и одно утро. «Елка и свадьба», не считая эпилога, — один вечер накануне Нового года, истории, рассказанные Ползуновым, длится одну неделю.

Такому отсчету времени Достоевский остался верен и в последующих произведениях, где действие также развивается с необыкновенной быстротой и в самые сжатые сроки.

Особому отсчету времени способствует излюбленный прием Достоевского — вести разговор от первого лица, исповедь героя. Исповедь слабых, но благородных сердец и является большинство произведений молодого Достоевского.

Неповторимый ритм писателя отражается на его языке и стиле, вернее, подчиняет их своим особым законам. Как правило, речь Достоевского психологически неустойчива, логически зыблема, нерва и прерывиста. Отсюда масса предположений, оговорок, уступительных предложений, все эти ограничивающие «впрочем», «как будто», «как-то», «хоти». Однако ритм прозы Достоевского, как горная лавина, преодолевает «ограничения — пренятствия», придавая особую силу языку и стилю. И этот ритм так прочно захватывает нас, что не сразу обращаем внимание на детали описания, не сразу оцениваем внешние черты героев, их «нотючмы».

А между тем Достоевский был тонким и глубоким мастером портрета. Вот, например, Юлиан Маеякович в рассказе «Елка и свадьба». Вся выразительность его характеристики достигается многократным употреблением уменьшительных слов. «Это был маленький, кругленький, сытенький человек с брюшком». Сравните сатирический порт-

рет писателя Кармазинова в романе Достоевского «Бесы», написанном через 23 года после рассказа «Елка и свадьба»: «Это был очень невысокий чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяными личиком, с густыми седенькими локоначками, выбившимися, из-под круглой цилиндрической шляпы и завывавшимися около чистеньких, розовеньких, маленькнх ушков его».

Произведения Достоевского 40-х годов читаются с неослабевающим интересом — так умело строит писатель их композицию. В «Белых ночах» всю повесть пронизывает тихая и радостная мелодия «Севиальского цирюльничка». Музыкальность построения «Белых ночей» раскрывается в словах мечтателя: «Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне». Поэтическая атмосфера «Белых ночей», наплывающие мотивы — воспоминания, едва заметные переходы настроений и чувств, превращают это одно из самых лирических произведений мировой литературы в музыку, запечатленную в слове.

В произведениях Достоевского 40-х годов заложены основы идей и образов позднего Достоевского. Мечтатель «Белых ночей» — первый «смешной человек» у Достоевского. За четыре года до смерти писатель создает рассказ «Сон смешного человека», где тема «высокого мечтательства», волновавшая Достоевского всю жизнь, находит свое окончательное воплощение. Идея «Маленького героя» — пробуждение сознания у юного существа — продолжала волновать Достоевского. Ей посвящен роман «Подросток». Ползунок трансформировался в образы Лебедева, Лебядкина и штабс-капитана Снегирева — героев романов «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы».

Герой первого произведения Достоевского, романа «Бедные люди», Макар Девушкин — первый «бунтовщик» у Достоевского. Он уже задает вопросы: отчего одни счастливы и богаты, а другие бедны и несчастны? почему же это так? зачем бог допускает такую неправду? Однако он был слишком робок, слишком забит, чтобы поднять настоящий бунт против этого несправедливого мира. Бунт назревает у товарища бедного Васи Шумкова. Аркадия Ивановича. Шумков не выдержал своего счастья. Аркадий не выдержал гибели своего друга и встал в бунт. И это уже не испуганное бормотание Макара Девушкина, а подлинный бунт человека, усомнившегося в справедливом устройстве этого мира. «Какая-то странная дума осветила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он поблдеел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту...»

«Идение на берегах Невы», символично связанное у Достоевского с рождением героя-бунтаря, вводит нас в это новое мироощущение героев его позднейших произведений. Но пока молодой Достоевский еще не раскрывает содержание бунта Аркадия Ивановича, загадочно обрывая рассказ «Слабое сердце».

Лишь после каторги и ссылки в романе «Преступление и наказание» Достоевский раскрыл содержание бунта Аркадия Ивановича, его «прозрение». Собственно, бунт Раскольников и зарождается на берегах Невы, там, где оборвался рассказ «Слабое сердце»: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великопанной панорамы: духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее». Как и Аркадия Ивановича, несправедливость и несчастья этого мира толкнули на бунт Раскольников. Эта тема справедливого бунта, пронесенная Достоевским через все творчество, получает наивысшее воплощение в образе Ивана Карамазова в последнем романе писателя «Братья Карамазовы».

«Слабый человек» Вася Шумков от «беззаконного» счастья сходит с ума. Сильный человек Иван Карамазов гордо отказывается от счастья, купленного страданием, и не

просто страданием, а страданием детей. Ничем нельзя ни объяснить, ни оправдать слез цыганской девочки, истязуемой родителями-садистами, так аргументирует свой бунт Иван Карамазов; нельзя оправдать мучений мальчика, затравленного бразыми собаками, смерти младенцев, зарезанных турками в Болгарии. Если мировая гармония непременно должна быть основана на слезах и крови, то долгов такую гармонию! Не стоит она слезинки, хотя бы одного только замученного ребенка.

Тема детских страданий всю жизнь волновала Достоевского. В толпе нарядных детей в рассказе «Елка и свадьба» Достоевский замечает «крайне забитого и запуганного мальчика... сына гувернантки хозяйских детей». Какой-то озорник его поколотила, но «ребенок не посмел заплакать». Белый, преследуемый мальчик пройдет через все творчество писателя (Илюночка Снегирев в «Братьях Карамазовых»). В описании детского праздника Достоевский впервые обращается к такому тонкому вопросу как психология детей. От рассказа «Елка и свадьба» прямая линия к романам «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», к рассказу «Мальчик у Христа на елке».

«Мальчик у Христа на елке» — единственное из произведений Достоевского, вошедших в настоящий сборник, написано им в последние годы жизни, когда убеждения писателя принимают религиозную окраску. Поиски правды, обличение несправедливого устройства мира, мечта о «счастье человечества» сочетаются в Достоевском с неярким, но перестройкой мира по «логике» и «разуму». Думая, что ни в каком устройстве общества не избежать зла, что душа человеческая всегда останется та же; что зло исходит из нее самой (мысль, положенная в основу ранней повести «Двойник»), Достоевский отвергает революционный путь преобразования общества и, ставя вопрос лишь о нравственном самоусовершенствовании каждого человека, устремляет свои взоры к богу, к Христу.

Однако и здесь Достоевский ведет процесс с богом о страданиях человека, о его назначении и судьбе, ничего не желая уступить богу в этой судьбе, ни одной слезинки ребенка, и, кажется, не было в истории такого пламенного адвоката человека, каким был Достоевский. При чтении его религиозных произведений вольно вспоминается старое изречение: «Из всех храмов человеческих нависший — это сердце человека».

Писатель сознательно строит рассказ «Мальчик у Христа на елке» по принципу контраста: великопаленная елка в комнате за стеклом и маленький оборванный, под самое рождество замерзающий на улице перед этой елкой. В предсмертном видении бедному, несчастному мальчику представляется, что его приводит к себе на райскую елку Христос, защитник обездоленных, униженных и оскорбленных. Ведь «нет сказок лучше тех, которые рассказывает сама жизнь», — сказала великий датский сказочник Ханс-Христиан Андерсен, и нет ничего фантастичнее действительности, говорил Достоевский.

Видение Христовой елки для замученных детей — первый набросок видения Алени Карамазова в романе «Братья Карамазовы». В рассказе «Мальчик у Христа на елке» уже найден тот вольноулыбанный-умиленный тон, который прозвучит нас в «Братьях Карамазовых».

«А внизу наутро дворники нашли маленький труник забравшего и замершего за деревьями мальчика; разыскали и его мать... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господ бога в небе».

По интонации «Мальчик у Христа на елке» напоминает рассказы Диккенса, одного из любимых писателей Достоевского. Однако финал совсем не похож на благополучные концовки английского классика. И даже радостная Христова елка не смягчает трагического финала рассказа Достоевского. «Мальчик у Христа на елке» — потрясающий приговор строю и миру, в котором страдают и гибнут дети. Страдания детей для Достоевского — один из главнейших признаков несправедливо устроенного мира.

Почти все произведения Достоевского кончаются трагически, но нигде у писателя нет безмолвного трагизма. Нет его и в рассказе «Мальчик у Христа на елке». Ведь

если в этом несправедливом мире страдают даже невинные дети, то, возможно, есть иной, справедливый мир, где воплотятся чаяния всех обездоленных детей. Значит, надо не только изменять жизнь, но и преодолевать ее. Но единственное, чем можно преодолеть жизнь, учит Достоевский, это любить ее, как любит дети, которые у писателя обычно получают назначение непривольных проводников чистоты и искренности. Но любить жизнь это значит до конца раздавать ее, то есть всегда и везде делать людям добро и только добро! «Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?»

На похоронах Достоевского среди множества венков был венок и от русских детей. Мало кто сумел так близко подойти к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как Достоевский. Многие очень любили детей, но писали о них с ласковым юмором взрослого человека и лишь слегка, словно кончиками пальцев, касались их мира. А Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику ему был дан самый ценный человеческий дар — дар страдания во имя любви к людям, к детям, дар сострадания. И самым сильным побуждением к состраданию являются дети.

То сострадание, о котором мы говорим, заключается, по Достоевскому, в способности понять человека, проникнуть в то доброе, что у него есть, и оценить его, освобождая его от прически лжи (вспомните Настеньку в «Белых ночах», с трудом понимающую книжную речь мечтателя, но безошибочно читающую в его сердце). Это умение целиком «срастись» с человеком, со всеми его мыслями, как Аркадий с Васей Шумковым, умение «всматриваться в человека», как рассказчик в Полуэктова, это радостное слияние со всем в нем добрым и скорбь обо всем злом, стремление заронить искру любви в сердце каждого человека. — тогда у всех на земле будет елка!

Полнота жизни не только лишь в преодолении зла и в победе над неверным добром, учит Достоевский. «Счастье в чистом взгляде и в безупречности сердца», а не только во «внешнем». Печаль, тоска, уныние, подавленное самочувствие, чуждое малейших крупинок счастья, — все это неизбежный удел того, кто стоит в ложном отношении к самому себе, а через это и к другим, — кто свое «я» ставит превыше всего. Пока человек думает о себе — о своей ли выгоде, о своем ли покое, об удовольствиях — до тех пор ни счастье, ни смысл жизни не дадутся ему.

Вопросы, которые волновали, мучили Достоевского, — это вековые, старые, как мир, и новые, как завтрашний день, вопросы человека о мире, вопросы о счастье и смысле жизни. Ставя и разрешая вопросы общечеловеческого характера и значения, Достоевский ведет нас к познанию жизни своим особым путем, мучительно выстраданным и всесторонне продуманным.

Чаще всего счастье и смысл жизни, по Достоевскому, достигаются путем страданий. Страдания, по мысли Достоевского, дают человеку ключ к сочувственному пониманию чужих страданий, чужого горя, делают его правдивее более чутким и жизненно более опытным и закаленным. Именно таким станет одиннадцатилетний мальчик из «Маленького героя», нежную, отроческую душу которого невольно ранил сложный и противоречивый мир взрослых. Это и было его «первое сознание и открытие сердца, первое, еще неясное прозрение» его «природы». «Первое детство» его «кончилось с этим мгновением». Он научился сострадать.

В связи с излюбленной идеей Достоевского о благотворном значении страданий необходимо отметить необыкновенно глубокую, всеохватывающую мысль его о виновности и ответственности каждого перед всеми и всех перед каждым, мысль, положенную в основу его ранней повести «Слабое сердце».

Человек не имеет права замыкаться в себе, жить лишь для себя. Человек не имеет права проходить мимо несчастий, царящих в мире, неустанно повторял Достоевский. Человек ответствен не только за собственные поступки, но и за всякое зло, совершающееся в мире.

Достоевский — бесконечно искренний и гуманный писатель. Он учил искать искру добра в каждом человеке, старался воспитать человека. «При полном реализме найти

в человеке человека» — так определял сам Достоевский сущность своего гения, его высокую гуманистическую устремленность. «В произведениях Достоевского, — писал П. А. Добролюбов, — мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не в праве быть человеком. . . «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку», — вот идеал, сложившийся в душе автора. . . как что-то, составляющее часть его собственной натуры».

Недаром многие из тех, кто испытывал в жизни минуты отчаяния, находили в произведениях Достоевского поддержку и выход. Они извлекали надежду на глубочайшей веры писателя в человека.

Читать Достоевского — это хотя и сладостная, но утомительная и нелегкая работа, так как его произведения дают неизмеримо много для мысли и души. По богатству и разнообразию мысли трудно найти писателя, равного Достоевскому. По надо быть предельно внимательным при чтении его произведений, чтобы понять его самые дорогие заветы и стремления.

«Я никогда не мог понять мысли, — писал Достоевский в 1876 году, — что одна десятая доля людей должна получить высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить в тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верю твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно подвортиться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было. . . Я не знаю, как все это будет, но это сбудется».

В поисках путей счастливого будущего человечества Достоевский, отрицая революционный путь преобразования общества, расходился со своими современниками — революционными демократами. Но мечта об этом будущем постоянно мучила писателя. Еще в 1848 году чистой простодушной Настеньке в «Белых ночах» Достоевский вверяет свою заветную мысль о всемирном братстве: «Зачем мы все не так, как бы братья с братьями?» В последнем гонимом романе Достоевского «Братья Карамазовы» о всеобщем братстве мечтает старец Зосима, а за полгода до смерти об этом говорил сам Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи в июне 1880 года на открытии памятника Пушкину.

Эта мечта озарила романтическим светом молодость Достоевского, свела его с дружными мечтателями — петрашевцами, за нее заплатил он десятью годами каторги и ссылки, за нее боролся и ее проповедовал в своих произведениях, в нее верил до своих последних дней.

С. БЕЛОВ

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты всех произведений (кроме рассказа «Мальчик у Христа на елке») воспроизводятся по полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в тридцати томах. (Л., «Наука», 1972).

Текст рассказа «Мальчик у Христа на елке» воспроизводится по изданию «Ф. М. Достоевский. Детям». М., («Детская литература», 1971).

«БЕЛЫЕ НОЧИ»

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1848, № 12.

Стр. 5. Эпиграф. Неточная цитата из стихотворения И. С. Тургенева «Цветок» (1843):

Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновение
В соседстве сердца твоего.

Стр. 6 ...цвет поднебесной империи. — Поднебесная империя — древнее название Китая. Национальным флагом Китая до 1912 года было изображение дракона на желтом фоне.

Стр. 16 ...дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатами, и с которого наконец сняли все эти семь печатей. — Сравнение навеяно «Сказкой о рыбаке» из «Тысячи и одной ночи». Пророк Аллаха Сулейман (арабский вариант библейского царя Соломона) запер упрямого джинна (духа) в кувшин и бросил в море. Через 1800 лет один рыбак случайно нашел этот кувшин и вскрыл его.

Стр. 16. Теперь «богиня фантазия» (если вы читали Жуковского)... — Речь идет о стихотворении В. А. Жуковского «Моя богиня» (1809), являющемсявольным переводом стихотворения Гете «Meine Göttin» (1780).

Стр. 16 ...на седьмое хрустальное небо... — то есть на высшую ступень блаженства.

Стр. 17 ...о дружбе с Гофманом... — Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776-1882) — один из наиболее выдающихся немецких писателей-романтиков, оказавший большое влияние на Достоевского в первый период его литературной деятельности, особенно на повести «Двойник» и «Хозяйка». В 60-е годы Достоевский восторженно отзывался о Гофмане как о писателе, у которого есть «идеал чистоты, красота действительная, истинная, присущая человеку, вместе с истинным зрелим юмором и необыкновенной силой действительности».

Стр. 17 ...Варфоломеевская ночь — массовое избивание гугенотов католиками в Париже 24 августа 1572 года в ночь накануне праздника святого Варфолоея.

Стр. 17. Диана Вернок — героиня популярного в России романа «Роб Рой» (1817) знаменитого английского писателя Вальтера Скотта (1771-1832).

Стр. 17 ...при взятии Казани Иваном Васильевичем... — то есть при взятии Казани в 1552 году русским войском во главе с Иваном Грозным.

Стр. 17. *Клара Мовбрай* — героиня романа В. Скотта «Сент-Роньяские воды» (1823).

Стр. 17. *Евфия Денс* — персонаж романа В. Скотта «Эдинбургская темница» (1818).

Стр. 17 ... *собор прелатов и Гус перед ними...* — *Гус Ян* (1369-1415) — вдохновитель чешского национально-освободительного движения; возглавлял борьбу против немецких феодалов и выступал за создание независимой от католицизма национальной церкви. В 1415 году церковный собор прелатов (общее название духовных лиц у католиков), имеющий право суда, приговорил Гуса к сожжению на костре после его отказа отречься от «ереси».

Стр. 17 ... *восстание мертвецов в Роберте (помните музыку? кладбищем пахнет!)* — «Роберт-Дьявол» (1824) — опера французского композитора Джакомо Мейснера (1791-1864).

Стр. 17. «*Мишна*». — Стихотворение В. А. Жуковского «Мишна» (1818), являющееся переводом баллады В. Гете «Мишона» (1782) из романа «Годы учения Вилгельма Мейстера» (1793-1796).

Стр. 17. «*Бренда*». — Баллада (1834) русского поэта П. П. Кошлова (1779-1840).

Стр. 17 ... *чтение поэмы у графини В-й — Д-й...* — Вероятно, речь идет о Екатерине Романовне Воронцовой-Дашковой (1743—1810) — русской общественной деятельнице, организаторе первых в России публичных чтений. В 1783—1796 годах Е. Р. Воронцова-Дашкова была директором Петербургской академии наук и президентом основанной при ее активном участии Российской академии для разработки русского языка.

Стр. 17. *Дантон Жорж Жак* (1759-1794) — видный деятель французской буржуазной революции 1789 года.

Стр. 17 ... *Клеопатра еі зноі amanti...* — Клеопатра и ее любовники (итал.).

Тема, предложенная импровизатору в повести Пушкина «Египетские ночи» (1835).

Стр. 17 ... *домик в Коломне* — заглавие поэмы Пушкина (1830). Коломной называлась одна из тогдашних петербургских окраин.

Стр. 23. «*Ивангос*» — роман Вальтера Скотта «Айвенго». Произношение английского названия романа («Ивангос»), принятое в XIX веке.

Стр. 23 ... «*Севильский цирюльник*» дают... — Опера итальянского композитора Джоаккино Россини (1792-1868) «Севильский цирюльник» (1816) шла в Петербурге в 1843-1844 годах с участием в роли Розины знаменитой французской певицы Полины Виардо (1821-1910).

Стр. 27 ... *Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание промелькнуло в моей голове!* — R-o. Ro-si-si, п-а, — начал я. — Как установил Ленинградский музыковед А. А. Розенцуд в книге «Достоевский и музыка» (Л., 1971), этот эпизод «Белых ночей» навеян сценой из второго действия оперы «Севильский цирюльник», где Фигаро советует Розине написать любимому, а та вручает ему заранее приготовленное письмо.

Стр. 28 ... *исполнил все ваши комиссии...* — то есть поручения. От лат. committere (поручать, верить).

«СЛАБОЕ СЕРДЦЕ»

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1848, № 2.

Стр. 40 ... *Он увидал, что тот был в своей превосходнейшей партикулярной паре...* — партикулярный (лат.) particula (частица) — частный, независимый, неформенный. В данном случае — в неформенной паре.

Стр. 44 ... *Как это ты манкировал, Васютка?* — (франц. manquer) — высказал неуважение.

Стр. 46. *Manon Lescaut* — Манон Леско — героиня одноименного романа (1733) французского писателя Антуана Франсуа Прево (1697-1763).

Стр. 46 ... *С е р и з о в ы е* (франц. *cerise*) — вишневые.

Стр. 46 ... *Б о н б о н и ч и к* (франц. *bonbon*) — конфетка.

Стр. 47 ... *c'est plus coquet*... — это кокетливее (франц.).

Стр. 47 ... *В и в е р* (франц. *viver*) — прожигатель жизни.

Стр. 86 ... *Л о б!* — *с к а з а л В а с я*... — При рекрутском наборе, если рекрута признавали годным к военной службе, то проназоспели: «Лоб!». и цирюльник подбрасывал рекруту голову спереди.

Стр. 67 ... *бедняк недавно из податного звания*... — К податному сословию относились крестьяне и городские мещане, платившие особый денежный налог — подать.

«ПОЛЗУНКОВ»

Впервые напечатано: Иллюстрированный альманах, изданный И. Паниевым и Н. Некрасовым (СПб, 1848).

Стр. 89 ... *подходила под жирутку*. — *Жирутка* (франц. *girouette*) — флюгер.

Стр. 73 ... *И бым отчества нам сладок и приятен!* — слова Чацкого из «Горя от ума», являющиеся в свою очередь цитатой из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798).

Стр. 74 ... *Вижу, — говорит Федосей Николаич, — вижу ваше раскаяние... вы, знаете, завтра...* — *Марии Египетские* — с... — Св. Марии Египетская. Память ее празднуется 1(13) апреля.

Стр. 74 ... *как снег на голову ремонтер наскочил на наш городишко*... — Ремонтрование (воен.) — способ комплектования военного состава армии покупкой лошадей по вольной цене, в противоположность поставке лошадей на основе конской повинности. От франц. *remonte*: *ге* (опять, вновь) и *монтер* (ставить) — дословно: поставка лошадей в полк. Ремонтрование совершалось при посредстве офицеров-ремонтеров.

Стр. 75 ... *гусара, который на саблю опирался*... — Имеется в виду романс на слова стихотворения К. Н. Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь...», 1812-1813). Музыковед А. А. Гозенинд отмечает в своей книжке «Достоевский и музыка» (Л., 1971), что этот романс вспоминает героиня «Преступления и наказания» Катерина Ивановна. Романс «Гусар, на саблю опираясь...» приписывался известному музыкальному меценату 40-х годов графу М. Вильгельмскому. Дочь писателя, Л. Ф. Достоевская, пишет, что ее отец любил бывать в молодости в музыкальном салоне М. Вильгельмского, где он впервые увидел реальный прототип скрипача Ефимова из повести «Идиотка Незванова» (Л. Ф. Достоевская. Об отце. Публикация С. В. Белова. «Литературное наследство», т. 86. М., 1973). Вполне возможно, что в салоне М. Вильгельмского Достоевский впервые услышал романс «Гусар, на саблю опираясь...».

Стр. 76 ... *Они тебя по ланите, а ты им на радость всю спину подставишь*. — *Ланита* — устаревшее — щека. Перифраз слов евангелия: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

«МАЛЫШ У ХРИСТА НА ЕЛКЕ»

Впервые напечатано в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского, 1876, январь. В настоящем издании печатается II часть рассказа.

«ЕЛКА И СВАДЬБА»

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1848, № 9.

Стр. 83 ... *сони а шогге* (итал.) — на любви.

Стр. 85 ... *hercus ultra* (лат.) — до крайних пределов.

Стр. 86. *Абордировать* (франц. *aborder*). — Здесь: атаковать.

«МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОИ»

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1857, № 8.

Стр. 89 ... *Явились краснобай, рассказчики, божмотисты*. — *Божмотист* — остряк, юморист, от франц. *bon* — (хороший) и *mot* — (слово).

Стр. 90 ... *которую воснес один известный и прекрасный поэт*. . . — Как указывается в примечаниях к академическому собранию сочинений Ф. М. Достоевского (т. 2, Л., 1972, стр. 508), возможно, что Достоевский, проицируя над увлечением испанской экзотикой, имеет в виду народийное стихотворение И. Панаева «Серенада», напечатанное под псевдонимом «Новый поэт» в журнале «Современник», 1847, № 1.

Стр. 92 ... *какой-то скрибовской комедии*. . . — *Скриб Огюстен Эжен* (1791-1861) — французский драматург, автор остроумных и занимательных комедий.

Стр. 96 ... *их Молох и Ваал*. . . — *Молох* — божество у древних семитических народов, которому поклонялись и приносили в жертву людей. *Ваал* (евр.) — божество молнии и грома, которому поклонялись в древности жители Финикии и Сирии.

Стр. 97 ... *сavalier servant* (франц.) — услужливому кавалеру.

Стр. 97 ... *заметив омбрелку*. . . — *Омбрелка* (франц. *ombrelle*) — зонтик.

Стр. 98 ... *Бенедикт к Беатриче*. . . — Персонажи комедии Шекспира «Много шума из ничего», скрывающие свою любовь за взаимными островами.

Стр. 99 ... *я костюм Синей бороды*. . . — *Синяя борода* — персонаж из одноименной сказки (1697) Ш. Перро (1628-1703).

Стр. 101 ... *я пристально начал выглядывать на дворе своего клеппера*. . . — *der Klepper* (немец.) — кляча, лошаденка.

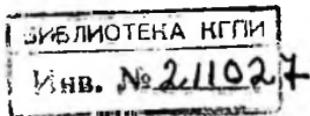
Стр. 104. «*Mais c'est très sérieux, messieurs, ne niez pas* (франц.) — «Но это серьезно, господа, не смейтесь!».

Стр. 106. *Делорж! Тогенбург!*. . . — герои двух баллад Шиллера «Перчатка» и «Рыцарь Тогенбург».

Стр. 110 ... *тех, которые «не жнут и не сеют»*. . . — слова на евангелии: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, и не жнут».

СОДЕРЖАНИЕ

Белые ночи. (Сентиментальный роман)	5
Слабое сердце. Повесть	40
Ползунков	69
Мальчик у Христа на елке	79
Елка и свадьба	83
Маленький герой	89
<i>С. Белов.</i> Повести и рассказы Достоевского	113
Примечания	122



ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Достоевский Федор Михайлович

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Ответственный редактор С. М. Туркова. Художественный редактор А. В. Карпов.
 Технический редактор Л. Б. Кузринова. Корректоры Г. В. Голубева и В. Г. Шишкина.
 Сдано в набор 12/V 1974 г. Подписано к печати 13/IX 1974 г. Формат 70×100/16.
 Бумага типографская № 2. Печ. л. 8. Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 10,59. Тираж
 150 000 экз. Заказ № 621. Цена 11 коп. Ленинградское отделение издательства Трудового Красного
 Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192487, наб. Кутузова, 6.
 Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета
 Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036,
 2-й Советский, 7. Книга набрана на машине 211ФА.